

Б 42
P179968

АЛЕКСАНДР БЕК

ПАНФИЛОВЦЫ НА ПЕРВОМ РУБЕЖЕ



ДЕТГИЗ • 1944

PK



В О Е Н Н А Я Б И Б Л И О Т Е К А Ш К О Л Ь Н И К А

АЛЕКСАНДР БЕК

ПАНФИЛОВЦЫ НА ПЕРВОМ РУБЕЖЕ

Повесть

89667/1



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
НАРКОМПРОСА РСФСР
Москва 1944 Ленинград

РИСУНКИ А. ЕРМОЛАЕВА



*«Если человеку выпадает случай наблюдать
чрезвычайное, как-то: извержение огнедышащей
горы, погубившей цветущие селения, восстание
угнетенного народа против всесильного владыки
или вторжение в земли родины невиданного и
необузданного народа, — все это видевший дол-
жен поведать бумаге. А если он не обучен
искусству нанизывать концом тростинки слова
повести, то ему следует рассказать свои воспо-
минания опытному писцу, чтобы тот начертал
сказанное на прочных листах в назидание внукам
и правнукам».*

(Из романа В. Яна «Чингиз-хан»)

ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО НЕТ ФАМИЛИИ

1



этой книге я всего лишь добросовестный и
прилежный писец.

Вот ее история.

2

— Нет, — резко сказал Баурджан Мо-
мыш-Улы, — я ничего вам не расскажу. Я не терплю тех,
кто пишет о войне с чужих рассказов.

— Почему?

Он ответил вопросом:

— Вам известно, что такое любовь?

— Да.

— До войны и я считал, что мне это известно. Но лю-
бовь, какую я знал, ничто в сравнении с той, какая возни-

кает в бою. На войне рождается самая сильная любовь и самая сильная ненависть, о какой люди, этого не пережившие, не имеют представления. А понимаете ли вы, что такое совесть?

— Понимаю, — менее уверенно ответил я.

— Нет, вы этого не понимаете... Вам известна совесть труженика, совесть мужа, но вы не знаете совести солдата. Вы бросали когда-нибудь гранату во вражеский блиндаж?

— Нет...

— Тогда как же вы будете писать о совести? Боец наступает вместе с ротой, в него бьют из пулеметов, рядом падают товарищи, а он ползет и ползет. Проходит час — шестьдесят минут. В минуте шестьдесят секунд, и каждую секунду его могут сто раз убить. А он ползет. Это совесть солдата! А радость? Знаете ли вы, что такое радость?

— Должно быть, и этого не знаю, — сказал я.

— Верно! Вам известна радость любви и, быть может, радость творчества. Но кто не испытал радости победы над врагом, радости боевого подвига — тот не знает, что такое самая сильная, самая жгучая радость. Как же вы будете писать об этом?

На столе лежал номер журнала, где был напечатан очерк о панфиловцах, о бойцах того самого полка, которым командовал Баурджан Момыш-Улы.

Он резко придвинул журнал к лампе, — все его движения были резкими, даже когда он бросал спичку, закурив, — перелистал, склонился над раскрытой страницей и отбросил.

— Не могу читать! — произнес он. — На войне я прочел книгу, написанную не чернилами, а кровью. После такой книги мне невыносимы сочинения. А что можете написать вы?

Я пытался спорить, но Баурджан Момыш-Улы был непреклонен.

— Нет! — отрезал он. — Мне ненавистна ложь, а вы не напишете правды.

3

Познакомиться нам довелось так:

Изучив материалы, я знал, что, наступая на Москву в октябре и ноябре 1941 года и пытаясь сомкнуть клещи вокруг нашей столицы, противник одновременно рвался к

цели напрямик, нанося главный удар вдоль Волоколамского, а затем и Ленинградского шоссе.

В тяжелые дни октября, когда немцы прорвались под Вязьмой и на танках, мотоциклах, грузовиках двигались на Москву, подступы к Волоколамскому шоссе закрыла 316-я стрелковая дивизия, ныне известная как 8-я гвардейская дивизия имени генерал-майора Панфилова. Предприняв второе, ноябрьское наступление на Москву, противник вбивал клин в том же направлении, где опять-таки дрались панфиловцы. В семидневном сражении под Крюковом, в тридцати километрах от Москвы, панфиловцы вместе с другими частями Красной армии сдержали папор немцев и отбросили врага.

Я отправился к панфиловцам и, еще не ведая ни имени, ни звания человека, который расскажет историю великой двухмесячной битвы, верил: я встречу его.

И действительно встретил.

Это был Баурджан Момыш-Улы, в дни битвы под Москвой старший лейтенант, а теперь, два года спустя, гвардии полковник.

4

Знакомясь, он назвал себя. Плохо расслышав, я переспросил.

— Баурджан Момыш-Улы, — отдельно повторил он.

В его тоне я уловил странную нотку, которая в тот момент показалась ноткой раздражения. Должно быть, он любит, подумалось мне, чтобы его понимали мгновенно.

По привычке корреспондента, я вынул записную книжку.

— Простите, как пишется ваша фамилия?

Он ответил:

— У меня нет фамилии.

Я изумился. Он сказал, что в переводе на русский Момыш-Улы означает сын Момыша.

— Это мое отчество, — продолжал он. — Баурджан — имя. А фамилии нет.

Лишь впоследствии, когда мы с ним познакомились ближе, я узнал, почему он называет себя человеком без фамилии.

— Я был и останусь казахом, — говорил он. — Когда я учился в школе вместе с русскими, многие ребяташки-казахи стали переименовывать имена на русский лад: вместо Куранбек — Костя, вместо Шолпан — Шура. Меня стали звать Борисом, Борей... Я говорил: «Я не Боря: был Баурд-

— Условимся, — продолжал он. — Вы обязаны написать правду. Готовую книгу принесете мне. Я прочту первую главу, скажу: «Плохо, наврано! Кладите на стол левую руку». Раз! Левая рука долой! Прочту вторую главу: «Плохо, наврано! Кладите на стол правую руку». Раз! Правая рука долой! Согласны?

Четко обрисованные, тоже словно вырезанные, его губы раздвинулись в улыбке.

— Согласен, — ответил я.

Не по-монгольски широкие черные глаза испытующе взглядывались в меня. Лезвие opisало полукруг и вернулось в ножны.

— Хорошо, — сказал он. — Кладите бумагу, берите карандаш. Пишите: «Глава первая. Страх».

СТРАХ

1



Пишите, — сказал Баурджан Момыш-Улы: — «Глава первая. Страх».

Подумав, он проговорил:

— «Не ведая страха, панфиловцы рвались в первый бой...» Как по-вашему: правдиво?

— Не знаю, — нерешительно сказал я.

— Так пишут ефрейторы литературы, — жестко сказал он. — В эти дни, что вы живете здесь, я нарочно велел поводить вас по таким местечкам, где иногда лопаются две-три мины, где посвистывают пули. Я хотел, чтобы вы испытали страх. Можете не подтверждать, я и без признаний знаю, что вам пришлось подавлять страх.

Так почему же вы и ваши товарищи по сочинительству воображаете, что воюют какие-то сверхъестественные люди, а не такие же, как вы? Почему вы предполагаете, что солдат лишен человеческих чувств, свойственных вам? Что он, по-вашему, — низшая порода? Или, наоборот, некое высшее создание?

Может быть, по-вашему, героизм — дар природы? Или дар каптенармуса, который вместе с шинелями раздает бесстрашие, отмечая в списке: «получено», «получено»?

Я немало уже пробыл на войне, стал командиром полка и имею основание, думается мне, утверждать: это не так!

На что рассчитывали немцы, вторгаясь в нашу огром-

ную страну? Они были уверены, что в восточный поход вместе с ними во главе танковых колонн отправится генерал Страх, перед которым склонится или побежит все живое.

Наш первый бой, проведенный в ночь с 15 на 16 октября 1941 года, был и сражением со страхом. А семь недель спустя, когда мы отбросили немцев от Москвы, за ними побежал и генерал Страх. Они наконец-то узнали, быть может впервые за эту войну, что значит, когда сзади гонится страх.

2

До середины октября, до момента, когда началась битва на подмосковных рубежах, мы в боях не участвовали. Выехав из Казахстана, мы полтора месяца прожили в болотах Ленинградской области, в тридцати-сорока километрах от фронта, на так называемой второй линии обороны, числясь резервом главного командования.

Утром 6 октября я получил приказ: поднять батальон по тревоге и выступить к ближайшему железнодорожному разъезду. Там нас уже ждали теплушки и платформы. Погрузившись, мы в ночь тронулись.

Куда? Даже мне, командиру батальона, до поры до времени этого знать не полагалось. Казалось, мы едем не к фронту, а от фронта. Поезд несся к узловой станции Бологое, не останавливаясь на промежуточных пунктах.

В пути объявили, что в Бологом для нас готов обед. Но кто-то гнал, кто-то подхлестывал наши эшелоны. Обед раздать не успели. Смена паровозов была произведена в две-три минуты. Гудок — и снова в путь!

Все с любопытством ждали, куда повернем от Бологого. Скоро выяснилось: к Москве.

Туда, не снижая скорости на полустанках, мчались с интервалами в полтора-два часа наши эшелоны, 316-я стрелковая дивизия.

Зачем, для каких целей нас перебрасывают?

Неизвестно.

Почему мчимся с такой скоростью? Куда, по какой дороге поедет от Москвы? Где остановимся?

Неизвестно, неизвестно.

Необычно быстрое движение вызывало у всех тревожную приподнятость. Думалось: наконец-то настоящее, наконец-то в дело, в бой!

Люди пели и шутили.

7 октября мы выгрузились в лесу, близ Волоколамска, в ста двадцати километрах западнее Москвы.

Меня вызвали к командиру полка на станцию.

Запомнились выстроившиеся близ полотна приземистые клепаные башни, выкрашенные маскировочным узором — зелеными и серыми разводами. Это были вместилища бензина.

Мог ли я знать, что скоро увижу на фоне угрюмого октябрьского неба, как — без грохота, который дошел позднее, без пламени и дыма, которые заволокли горизонт потом, — они, эти железные башни, враз медленно поднимутся и, словно повисев мгновение, рухнут?

Подходя к станционному зданию, — впоследствии от него осталась лишь раскрытая кирпичная коробка с хвостами копти над пустыми окнами, — я издали заметил длинный состав платформ, сплошь груженных пушками.

Меня кто-то окликнул. У состава я увидел полковника Малинина, командира артиллерийского полка нашей дивизии.

— Полюбуйтесь-ка, отступник, — сказал он. — Хороши?

Он называл меня отступником с того дня, как узнал, что я, артиллерист, командир батареи, по собственному настоянию перешел в пехоту.

Орудия были смазаны по-заводски — толстым слоем потемневшего сверху густого пушечного сала. Дополнительно к нашей дивизионной артиллерии они только что прибыли сюда.

— Ого, — сказал я, — есть и тяжелые!

— Этих бегемотов будем устанавливать, как крепостные...

— Разве мы здесь надолго?

— Зимовать, должно быть, будем. Принимаем Волоколамский У. Р.

Вам, надеюсь, известно, что У. Р. есть сокращенное название: «укрепленный район».

Я ощутил разочарование. Опять, значит, мы в тылу, опять в резерве.

Я не знал, что далеко впереди, за Вязьмой, немцы рассекли фронт, заслонявший Москву; что Гитлер четыре дня назад объявил по радио миру: «Красная армия уничтожена, дорога на Москву открыта».

А Москва в это время напряженно создавала новый фронт в ста двадцати — ста пятидесяти километрах от городской черты, на рубежах, которые вошли в историю под названием «дальних подступов». С московских вокзалов без речей и оркестров отправлялись коммунистические батальоны в штатском, получавшие оружие и обмундирование в пути. За день-два до нашего прибытия были переброшены на грузовиках через Волоколамск к Московскому морю пехотные части; вслед за ними туда отправились артиллерийские полки. Москва — я произношу это слово символически, разумея ставку, Кремль, Сталина, — Москва посылала навстречу врагу свежие силы и вооружение, в том числе и эти пушки.

В штабе полка подтвердили: дивизии приказано принять и оборудовать оборонительными сооружениями Волоколамский укрепленный район. Мне указали участок моего батальона.

4

Вечером мы выступили в ночной марш к реке Рузе, за тридцать километров от Волоколамска.

Житель южного Казахстана, я привык к поздней зиме, а здесь, в Подмосковье, в начале октября утром уже подмораживало. На рассвете по схваченной морозом дороге, по затвердевшей, вывороченной колесами грязи мы подошли к селу Новлянскому — самому крупному населенному пункту нашего батальонного участка.

Глаз сразу отметил силуэт невысокой колокольни, черневший в мутном небе.

Оставив батальон близ села, в лесу, я с командирами рот отправился на рекогносцировку.

Моему батальону было отмерено семь километров по берегу извилистой Рузы. В бою, по нашим уставам, такой участок велик даже для полка. Это, однако, не тревожило. Я был уверен, что если противник действительно подойдет когда-нибудь сюда, его встретят на наших семи километрах не батальон, а пять или десять батальонов. С таким расчетом, думалось мне, надо готовить укрепления.

Не ожидайте от меня живописания природы. Я не знаю, красив или нет был расстилавшийся перед нами вид.

По темному зеркалу, как говорится в топографии, неширокой медлительной Рузы распластались большие, будто вырезанные листья, на которых летом цвели, наверное, белые лилии. Может быть, это красиво, но я для себя за-

ку к груди, безмолвно прося извинения. А ноги уже несли его ко мне, вслед за Блохой.

Затем обернулся очкастый Мурин, до войны аспирант консерватории, писавший статьи по истории музыки. Но его кто-то подтолкнул, указывая на недалекий лес. И он опять, как заяц, помчался. И опять обернулся. Потом остановился. Вспотевшее лицо на слабой шее поворачивалось то ко мне, то к лесу. Потом быстро протер пальцами очки и понесся назад, ко мне.

Все они были одним отделением, одним пулеметным расчетом. Теперь нехватало лишь командира отделения, сержанта Барамбаева.

Я нередко радовался, глядя, как ловко он, казах Барамбаев, разбирает и собирает пулемет, как легко он угадывает, точно механик, где и почему не совсем ладно. «Вот и мы, казахи, становимся, как и русские, народом механиков», иногда думал я, встречая Барамбаева.

А теперь он прошмыгнул, наверное, где-нибудь мимо, не смея на меня взглянуть.

Я молча встречал возвращающихся. Я знал, мои бойцы были честными людьми. Сейчас их терзал стыд... Как огрadyть их на другой раз от этого мучительного чувства, как спасти их от позора? Разве я уверен, что они и в другой раз не побегут и опять потом не будут понимать, как это с ними могло произойти? Что с ними делать?

Уговаривать? Побеседовать? Накричать? Отправить под арест?

Отвечайте же — что?

СУДИТЕ МЕНЯ!

1



сидел у себя в блиндаже, уставясь в пол, подперев опущенную голову руками, вот так (Баурджан Момыш-Улы показал, как он сидел), и думал, думал.

— Разрешите войти, товарищ комбат...

Я кивнул, не поднимая головы.

Вошел политрук пулеметной роты Джалмухамед Бозжанов.

— Аксакал... — тихо сказал Бозжанов по-казахски.

Аксакал в буквальном переводе — седая борода; так называют у нас старшего в роде, отца. Так иногда звали меня Бозжанов.

Я взглянул на Бозжанова. Доброе круглое лицо было сейчас расстроенным.

— Аксакал... в роте чрезвычайное происшествие: сержант Барамбаев прострелил себе руку.

— Барамбаев?

— Да...

Показалось, кто-то стиснул мне сердце. Сразу все заболело: грудь, шея, живот. Барамбаев был, как и я, казах, казах с умелыми руками, командир пулеметного расчета, тот самый, которого я не дождался.

— Что ты с ним сделал? Убил?

— Нет... перевязал и...

— И что?

— Арестовал и привел к вам.

— Где он? Давай его сюда!

Так... В моем батальоне появился, значит, первый предатель, первый переступая, он вошел. В первый момент я не узнал его. Посеревшее и словно обмякшее лицо казалось застывшим, как маска. Такие лица бывают у душевнобольных. Забинтованную левую руку он держал навесу; сквозь марлю проступила свежая кровь. Правая рука дернулась, но, встретив мой взгляд, Барамбаев не решился отдать честь. Рука боязливо опустилась.

— Говори, — приказал я.

— Это, товарищ комбат, я сам не знаю как... Это нечаянно... Я сам не знаю как.

Он упорно бормотал эту фразу.

— Говори.

Он не услышал от меня ругательств, хотя, должно быть, ждал их. Бывают моменты, когда уже незачем ругаться. Барамбаев сказал, что, побежав в лес, он споткнулся, упал и винтовка выстрелила.

— Вранье! — сказал я. — Вы трус! Изменник! Родина таких уничтожает!

Я посмотрел на часы: было около трех.

— Лейтенант Рахимов!

Рахимов был начальником штаба батальона. Он встал.

— Лейтенант Рахимов! Вызовите сюда красноармейца Блоху. Пусть явится немедленно.

— Есть, товарищ комбат.

— Через час с четвертью, в шестнадцать ноль-ноль, постройте батальон на поляне у этой опушки... Всё. Идите! — приказал я Рахимову.

— Что вы хотите со мной сделать? Что вы хотите со мной сделать? — торопливо, словно боясь, что не успеет сказать, заговорил Барамбаев.

— Расстреляю перед строем!

Барамбаев упал на колени. Его руки, здоровая и забинтованная, измаранная позорной кровью, потянулись ко мне.

— Товарищ комбат, я скажу правду!.. Товарищ комбат, это я сам... это я нарочно...

— Встань! — сказал я. — Сумей хоть умереть не червяком.

— Простите!

— Встань!

Он поднялся.

— Эх, Барамбаев, Барамбаев! — мягко произнес Бозжанов. — Скажи, ну что ты думал?

Мне на мгновение показалось, что я сам это сказал; будто вырвалось то, чему я приказал: «Молчи!»

— Я не думал... — бормотал Барамбаев. — Ни одной минуты я не думал!.. Я сам не знаю как.

Он опять цеплялся, как за соломинку, за эту фразу.

— Не лги, Барамбаев! — сказал Бозжанов. — Говори комбату правду.

— Это правда, это правда... Потом гляжу на кровь, опомнился: зачем это я? Чорт попутал... Не стреляйте меня! Простите, товарищ комбат!

Может быть, в этот момент он действительно говорил правду. Может быть, именно это с ним и было: затмение рассудка, мгновенная катастрофа подточенной страхом души.

Но ведь так и бегут с поля, так и становятся преступниками перед отечеством, нередко не понимая потом, как это могло случиться.

Я сказал Бозжанову:

— Вместо него Блоха будет командиром отделения. И это отделение, люди, с которыми он жил и от которых бежал, расстреляют его перед строем.

Бозжанов наклонился ко мне и шопотом сказал:

— Аксакал, а имеем ли мы право?

— Да! — ответил я. — Потом буду держать ответ перед кем угодно, но через час исполню то, что сказал. А вы подготовьте донесение.

Запыхавшись, в блиндаж вошел красноармеец Блоха. Пошмыгивая носом, двигая светлыми, чуть намеченными бровями, он не совсем складно доложил, что явился.

— Знаешь, зачем я тебя вызвал? — спросил я.

— Нет, товарищ комбат.

— Посмотри на этого... Узнаешь?

Я указал на Барамбаева.

— Эх ты!.. — сказал Блоха. В голосе слышались и презрение и жалость. — И морда какой-то поганой стала!

— Расстреляете его вы, — сказал я, — ваше отделение...

Блоха побледнел. Вздохнув всей грудью, он выговорил:

— Исполним, товарищ комбат.

— Вас назначаю командиром отделения. Подготовьте людей вместе с политруком Божановым.

Подойдя к Барамбаеву, я сорвал с него знаки различия и красноармейскую звезду.

Он стоял с посеревшим, застывшим лицом, уронив руки.

2

В назначенное время, ровно в четыре, я вышел к батальону, выстроенному в виде буквы «П». В середине открытой, не заслоненной людьми линии стоял в шинели без пояса, лицом к строю Барамбаев.

— Батальон, смирно! — скомандовал Рахимов.

В тиши пронесся и оборвался особенный звук, всегда улавливаемый ухом командира: как одна, двинулись и замерли винтовки.

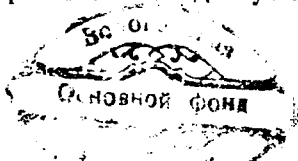
В омраченной душе сверкнула на мгновение радость: Нет, это не толпа в шинелях, это солдаты, сила, батальон.

По вашему приказанию, батальон построен! — четко отпортовал Рахимов.

В этот час, на этом русском поле, где стоял перед строем человек с позорно забинтованной рукой, без пояса и без звезды, каждое слово — даже привычная формула рапорта — волновало души.

— Командир отделения Блоха! Ко мне с отделением! — приказал я.

В молчании шли они через поле — впереди невысокий Блоха и саженный Галлиулин, за ними Мурин и дежуривший вчера у пулемета Добряков, — шли очень серьезные, в затылок, в ногу, не отворачивая лиц от бьющего сбоку ветра, невольно стараясь быть подтянутыми под взглядами сотен людей.



179968.

Но они волновались.

Блоха скомандовал: «Отделение, стой!» Вязтовки единым движением с плеч опустились к ноге; он посмотрел на меня, забыв доложить.

Я сам шагнул к нему, взяв под козырек. Он ответил тем же и не совсем складно выговорил, как требуется по уставу, что явился с отделением.

Став в одну шеренгу, отделение по команде повернулось к строю.

Я сказал:

— Товарищи бойцы и командиры! Люди, что стоят перед вами, вчера побежали, когда я крикнул: «Тревога!» и подал команду: «В ружье!» Через минуту, опомнившись, они вернулись. Но один не вернулся — тот, кто был их командиром. Он прострелил себе руку, чтобы ускользнуть с фронта. Этот трус, изменивший родине, будет сейчас по моему приказанию, расстрелян. Вот он!

Повернувшись к Барамбаеву, я указал на него пальцем. Он смотрел на меня, на одного меня, выискивая надежду.

Я продолжал:

— Он любит жизнь, ему хочется наслаждаться воздухом, землей, небом. И он решил так: умирайте вы, а я буду жить. Так живут паразиты — за чужой счет.

Меня слушали, не шелохнувшись.

Сотни людей, стоявшие передо мной, знали: не все останутся жить, иных выхватит из рядов смерть, но все в эти минуты переступали какую-то черту, и я выражал словами то, что всколыхнулось в душах.

— Да, в бою будут убитые. Но тех, кто погибнет как воин, не забудут на родине. Сыны и дочери с гордостью будут говорить: «Наш отец был героем Отечественной войны!» Это скажут и внуки и правнуки. Но разве мы все погибнем? Нет. Воин идет в бой не умирать, а убить врага! И того, кто, побывав в боях, исполнив воинский долг, вернется домой, того тоже будут называть героем Отечественной войны. Как гордо, как сладко это звучит: герой! Мы, честные бойцы, изведем сладость славы, а ты... (я опять повернулся к Барамбаеву) ты будешь валяться здесь, как падаль, без чести и без совести. Твои дети отрекутся от тебя.

— Простите... — тихо выговорил Барамбаев по-казахски.

— Что, вспомнил детей? Они стали детьми предателя. Они будут стыдиться тебя, будут скрывать, кто был их отец. Твоя жена станет вдовой труса, изменника, рас-

стрелянного перед строем. Она с ужасом будет вспоминать тот несчастный день, когда решила стать твоей женой. Мы напишем о тебе на родину. Пусть там все узнают, что мы сами уничтожили тебя.

— Простите... Пошлите меня в бой...

Он опять говорил тихо и опять по-казахски.

Я закричал:

— Мы не в ауле! Говори по-русски!

Он быстро повторил по-русски:

— Простите... Пошлите меня в бой...

Барамбаев произнес это не очень внятно, но почувствовалось: его услышали все.

— Нет! — сказал я. — Все мы пойдем в бой! Весь батальон пойдет в бой! Видишь этих бойцов, которых я вызвал из строя? Узнаешь их? Это отделение, которым ты командовал. Они побежали вместе с тобой, но вернулись. И у них не отнята честь пойти в бой! Ты жил с ними, ел из одного котелка, спал рядом, под одной шинелью, как честный солдат. Они пойдут в бой. И Блоха, и Галлиулин, и Добряков, и Мурин — все пойдут в бой, пойдут под пули и снаряды. Но сначала они расстреляют тебя — труса, который удрал от боя!

И я произнес команду:

— Отделение, кру-гом!

Разом побледнев, бойцы повернулись. Я ощутил, что и у меня похолодело лицо.

— Красноармеец Блоха! Снять с изменника шинель!

Блоха сумрачно подошел к Барамбаеву. Я увидел: его, Барамбаева, незабинтованная правая рука поднялась и сама стала отстегивать крючки. Это поразило меня. Нет, у него, который, казалось бы, сильнее всех жаждал жить, не было воли к жизни — он безвольно принимал смерть.

Шинель снята. Блоха отбросил ее и вернулся к отделению.

— Изменник, кругом!

Последний раз взглянув с мольбой на меня, Барамбаев повернулся затылком.

Я скомандовал:

— По трусу, изменнику родине, нарушителю присяги... отделение...

Винтовки вскинулись и замерли. Но одна дрожала. Мурин стоял с белыми губами, его прохватывала дрожь.

И мне вдруг стало нестерпимо жалко Барамбаева.

От дрожащей в руках Мурина винтовки словно несло ко мне: «Пощади его, прости!»

И люди, еще не побывавшие в бою, еще не жестокие к трусу, напряженно ждавшие, что сейчас я произнесу: «Огонь!», тоже будто просили: «Не надо этого, прости!»

И ветер вдруг на минуту стих, самый воздух замер, словно для того, чтобы я услышал эту немую мольбу.

Я видел широченную спину Галлиулина, головой выдававшегося над шеренгой. Готовый исполнить команду, он, казах, стоял, целясь в казаха, который тут, далеко от родины, был всего несколько часов назад самым ему близким. От его, Галлиулина, спины доходило ко мне то же: «Не заставляй! Прости!»

Я вспомнил все хорошее, что знал о Барамбаеве: вспомнил, как бережно и ловко, словно оружейный мастер, он собирал и разбирал пулемет; как я втайне гордился: «Вот и мы, казахи, становимся народом механиков».

...Я — человек. И я крикнул:

— Отставить!

Наведенные винтовки, казалось, не опустились, а упали, как чугунные. И тяжесть упала с сердец.

— Барамбаев! — крикнул я.

Он обернулся, глядя спрашивающими, еще не верящими, но уже загоревшимися жизнью глазами.

— Надевай шинель!

— Я?

— Надевай... Иди в строй, в отделение!

Он растерянно улыбнулся, схватил обеими руками шинель и, надевая на ходу, не попадая в рукава, побежал к отделению.

Мурин, добрый очкастый Мурин, у которого дрожала винтовка, незаметно звал его кистью опущенной руки: «Становись рядом!», а потом по-товарищески подтолкнул под бок. Барамбаев снова был бойцом, товарищем.

Я подошел и хлопнул его по плечу.

— Теперь будешь сражаться?

Он закивал и засмеялся. И все вокруг улыбались. Всем было легко...

Вам тоже, наверное, легко? И те, кто будет читать эту повесть, тоже, наверное, вздохнут с облегчением, когда дойдут до команды: «Отставить!»

А между тем было не так. Это я увидел лишь в мыслях; это мелькнуло, как мечта.

Было иное.

...Заметив, что у Мурина дрожит винтовка, я крикнул:
— Мурин, дрожишь?

Он вздрогнул, выпрямился и плотнее прижал приклад; рука стала твердой. Я повторил команду:

— По трусу, изменнику родине, нарушителю присяги... отделение... огонь!

И трус был расстрелян.

Судите меня!

Когда-то моего отца, кочевника, укусил в пустыне ядовитый паук. Отец был один среди песков, рядом не было никого, кроме верблюда. Яд этого паука смертелен. Отец вытащил нож и вырезал кусок мяса из собственного тела — там, где укусил паук.

Так теперь поступил и я — ножом вырезал кусок из собственного тела.

Я — человек. Все человеческое кричало во мне: «Не надо, пожалей, прости!» Но я не простил.

Я — командир, отец. Я убивал сына, но передо мной стояли сотни сыновей. Я обязан был кровью запечатлеть в душах: изменнику нет и не будет пощады!

Я хотел, чтобы каждый боец знал: если струсишь, изменишь — не будешь прощен, как бы ни хотелось простить.

Напишите все это — пусть прочтут все, кто надел или готовится надеть солдатскую шинель. Пусть знают: ты был, быть может, хорош, тебя раньше, быть может, любили и хвалили; но каков бы ты ни был, за воинское преступление, за трусость, за измену будешь наказан смертью.

НЕ УМИРАТЬ, А ЖИТЬ!

1



Н аутро я опять объезжал участок.

Как и вчера, бойцы рыли окопы.

Но они были мрачны. Ухо нигде не улавливало смеха, взгляд не встречал улыбок.

Подъезжаю. Вижу: боец накрыл свой окоп жердями, присыпал сверху землей.

— Что ты натворил?

— Окоп, товарищ комбат.

— А что сверху?

— Деревя, товарищ комбат.
— Вылезай оттуда! Сейчас я тебе покажу, какие это деревья.

Красноармеец выскакивает. Достая пистолет и всаживая несколько пуль в лобовой накат.

— Лезь обратно! Посмотри, пробило?

Через полминуты он с готовностью кричит:

— Пробило, товарищ комбат!

— Что же ты построил? Что это, шалаш бахчевода в Средней Азии? От солнца там будешь укрываться?.. Чего молчишь?

Красноармеец неохотно произносит:

— Она везде найдет...

— Кто она?

Он не отвечает. Я понимаю: он боится смерти.

Спрашиваю:

— Ты что, жить не хочешь?

— Хочу, товарищ комбат.

— Тогда разбирай, выбрасывай к чорту эти палки! Клади бревна толщиной в телеграфный столб, клади в пять рядов, чтобы и снаряд не взял, если попадет.

Красноармеец тоскливо поглядывает то на окоп, то на лес: там, в лесу, в отдалении от опушки, надо валить и оттуда таскать тяжелые бревна.

— Авань, не попадет, — говорит он.

Оно жило и здесь, хотя никого и не радовало, это слово «авось». Оно не было словом бойца, собранного для боя.

— Расшвыривай! — кричу я. — И снова заставлю раскидать, если не положишь пять рядов.

Вздыхнув, он берется за лопату и отгребает насыпанную сверху землю.

Я молча смотрю. Нет, ему еще не верится, что из этого окопа он, неуязвимый для врага, будет бить немцев. Ему не верится, что они станут падать под его пулями. На душе иное.

Некоторые взводы по расписанию проводили в тот день боевые стрельбы.

На противоположном берегу — откуда мог появиться противник — были установлены близкие и дальние мишени, изображающие фашистов по поясу и в рост.

Я хотел, чтобы каждый боец приобрел навык стрельбы



— ...Клади бревна толщиной в телеграфный столб, клади в пять рядов, чтобы и снаряд не взял, если попадет.

из своего окопа, из своего подземного дома; хотел, чтобы вся лежащая впереди местность была пристреляна.

По мишеням били из пулеметов и винтовок. Я забирался в окопы и работал с каждым.

— Не попал! Подумай: почему? Взял не тот прицел или не так приложился? Ну-ка, проверь прицел... Стрельнем-ка еще раз...

Наконец боец всаживал в намалеванную фашистскую морду две пули из трех. Это неплохой результат, в таких случаях солдату трудно скрыть гордость.

2

А я опять думал...

Объезжая семикилометровую линию, вернувшись в блиндаж затемно, обедая, работая в штабе, улегшись на ночь, думал и думал...

Что произошло с батальоном? Не убил ли я вчера, расстреляв перед строем изменника, бежавшего ради спасения жизни, — не убил ли я этим же залпом великую силу любви к жизни, не подавил ли великий инстинкт самосохранения?

Вспомнилось, в одной статье я читал: «В бою в человеке борются две силы: сознание долга и инстинкт самосохранения. Вмешивается третья сила — дисциплина, и сознание долга берет верх».

Так ли это? Наш генерал Иван Васильевич Панфилов говорил об этом по-другому. Когда-то, еще в Алма-Ате, в ночном разговоре, Панфилов сказал: «Солдат идет в бой не умирать, а жить!»

Мне полюбились эти слова, я иногда повторял их. Теперь, готовясь к первому бою, думая о батальоне, которому выпало на долю драться под Москвой, я вспомнил Панфилова, вспомнил эти слова.

3

В определенный час по расписанию в ротах проводились беседы или чтение газет вслух.

Я решил пойти в этот час по подразделениям — послушать, что говорят бойцам политруки.

В первой роте шли занятия. Не расставаясь с винтовками, бойцы кучкой сидели под открытым небом близ окопов.

Падал редкий снежок. На темной хвое появились первые, еще просвечивающие белые мазки.

Вокруг все было тихо, но каждый посматривал вдаль с особым чувством — каждый ждал: вот-вот там все загрохочет; со свистом и воем, о каком знали пока лишь по рассказам, полетят мины и снаряды; по полю, оставляя черные полосы на раннем снегу, двинутся стреляющие на ходу танки; из лесу выбегут, припадая к земле и вновь вскакивая, люди в зеленых шинелях — те, что идут нас убить.

Я подождал, пока политрук окончит чтение газеты. Статья, которую он прочел вслух, называлась «Родина требует». Я спросил одного красноармейца:

— Ты знаешь, что такое родина?

— Знаю, товарищ комбат.

— Ну, отвечай.

— Это наш Советский Союз, наша территория.

Спросил другого:

— А ты как ответишь?

— Родина — это... это, где я родился. Ну, как бы выразиться... местность.

— А ты?

— Родина? Это наше советское правительство... это... ну, взять, скажем, Москву... Мы вот ее сейчас отстаиваем. Я там не был... Я ее не видел, но это родина...

Некоторые вызывались отвечать, но я все же не был удовлетворен. Стали просить: «Разъясните!»

— Хорошо. Разъясню... Ты жить хочешь?

— Хочу.

— А ты?

— Хочу.

— А ты?

— Хочу.

— Кто жить не хочет, поднимите руки.

Ни одна рука не поднялась.

— Все хотят жить? Хорошо.

Спрашиваю красноармейца:

— Семья есть?

— Да.

— Отца, мать любишь?

Сконфузился.

— Говори, любишь?

— Люблю.

— Дом есть?

— Есть.

— Хороший?

- Для меня неплохой...
- Хочешь вернуться домой?
- Чего, товарищ комбат, зря говорить! Один вот захотел, и... за это расстрел по военному закону.
- Нет, я говорю не зря... Отвечай: хочешь остаться в живых, вернуться домой, к родным?
- Сейчас не до дома: надо воевать.
- Ну, а после войны — хочешь?
- Кто не захочет...
- Нет, ты не хочешь!
- Как не хочу?
- Это зависит от тебя — вернуться или не вернуться; это в твоих руках. Хочешь остаться в живых? Значит, ты должен убить того, кто стремится убить тебя. А что ты сделал для того, чтобы сохранить жизнь в бою и вернуться после войны домой? Из винтовки отлично стреляешь?
- Нет...
- Ну вот... Значит, не убьешь немца. Он тебя убьет. Не вернешься домой живым. Перебегаешь хорошо?
- Да так себе...
- Ползаешь хорошо?
- Нет...
- Ну вот... Подстрелит тебя немец. Чего ж ты говоришь, что хочешь жить?.. Гранату хорошо бросаешь? Маскируешься хорошо? Окапываешься хорошо?
- Окапываюсь хорошо.
- Врешь! С лендой окапываешься. Сколько раз я заставлял тебя накат раскидывать?
- Один раз...
- И после этого ты набрался нахальства и заявляешь, что хочешь жить? Нет, ты не хочешь жить! Верно, товарищи, не хочет он жить?
- И уже вижу улыбки, у иных уже чуть отлегло от сердца. Но красноармеец говорит:
- Хочу, товарищ комбат.
- Хотеть мало. Желание надо подкреплять делами. А ты словами говоришь, что хочешь жить, а делами в могилу лезешь. Тебя оттуда крючком вытаскивать надо.
- Пронесся смех — первый смех от души, услышанный мной за последние два дня. Я продолжал:
- Когда я расшвыриваю жидкий накат в твоём окне, я делаю это для тебя. Ведь там не мне сидеть. Когда я ругаю тебя за грязную винтовку, я делаю это для тебя.

Ведь не мне из нее стрелять. Все, чего от тебя требуют, все, что тебе приказывают, делается для тебя. Теперь понял, что такое родина?

— Нет, товарищ комбат.

— Родина — это ты! Убей того, кто хочет убить тебя! Кому это надо? Тебе самому! Твоему отцу и матери, твоим братьям и сестрам!

Бойцы слушали. Рядом, у ног, присел политрук и смотрел на меня, неудобно запрокинув голову, изредка помаргивая, когда на ресницы садились пушинки снега. С большелобой головы свалилась шапка; он, не глядя, подобрал ее и теребил в руках. Иногда и у него, не спросясь, появлялась улыбка.

Говоря с красноармейцами, я обращался и к нему. Я желал, чтобы и он, политрук, готовивший себя, как и все, к первому бою, воспринял: жестокая правда войны не в слове «умри!», а в слове «убей!».

— Враг идет убить и тебя и меня, — продолжал я. — Я учу тебя, я требую: убей его, сумей убить, потому что и я хочу жить. И каждый из нас велит тебе, каждый приказывает: убей — мы хотим жить! И ты требуешь с товарища — обязан требовать, если действительно, а не только на словах хочешь жить: убей! Ты обязан требовать с другого: не дай убить себя, сумей сам убить! Родина — это ты, родина — это я, родина — это мы, наши семьи, наши матери, наши жены и дети. Родина — это наш народ! Может быть, тебя все-таки настигнет пуля, но сначала убей! Истреби, сколько сможешь! Этим сохранишь в живых его, и его, и его (я указал пальцем на бойцов) — товарищей по окопу и винтовке! Я, ваш командир, хочу исполнить веление нашего народа, хочу вести вас в бой не умирать, а жить! Понятно? Всё!.. Командир роты! Развести людей по огненным точкам!

4

Раздались команды: «Первый взвод, становись!», «Второй взвод, становись!».

Бойцы вскакивали, бегом находили места, расправляли, как требовалось, плечи. Быстро подравнивалась колеблющаяся линия штыков. Опять чувствовалось — это воинский строй, это дисциплинированная, управляемая сила. Расстояния между взводами казались гнездами, где плотно сидят невидимые скрепы.

Может быть, моя речь была несколько наивна, но в ту минуту мне казалось — я достиг своего. Бойцы освобождались от тягостных дум, навеянных неизведанной опасностью, в них напрягалась воля к жизни, разгоралась ненависть к немцу. Я знал, что каждый из нас выполнит веление родины.

ГЕНЕРАЛ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ПАНФИЛОВ

1



Он приехал к нам на следующий день, тринадцатого.

Мы не ждали его, но вышло так, что, как нарочно, в штабе сидели вызванные мною командиры рот.

Надо ли описывать наше штабное помещение? Посмотрите вокруг: там, в подмосковном лесу, нашим обиталищем был такой же блиндаж — врытая в землю бревенчатая сырая коробка, к стенкам которой нельзя прислониться: прилипнешь к смоле. День и ночь горела лампа. Наружу в разных направлениях выбегали провода, словно зажатые здесь в кулаке.

Командиры помечали на картах схему минных полей, которые предстояло заложить ночью. Для колесного движения оставался открытым лишь большак с мостом у села Новлянского; другие подходы к рубежу минировались.

На столе у лампы лежал большой лист шероховатой ватманской бумаги, на нем цветными карандашами была нанесена схема нашей обороны. Схему вычертил начальник штаба Рахимов. Он отлично рисовал и чертил.

Я сберег этот лист. Хотите взглянуть?.. Красиво? Не только красиво, но и точно.

Эта выющаяся голубоватая лента — река Руза. Ломаная полоса по берегу — эскарп: Темнозеленым очерчены леса. Черные точки на той стороне — минные поля. Некрутые красные дуги с обращенной на запад щетиной — наша оборона. Разными значками — видите, они тоже все красные — помечены окопы стрелков, пулеметные гнезда, противотанковые и полевые орудия, приданные батальону.

Линия, отмеренная нам, была, как известно, очень длинной: семь километров — батальону. Мы растянулись, как потом говорил Панфилов, «в ниточку». Даже в тот день, тринадцатого октября, я все еще не допускал мысли, что в

района Волоколамского шоссе лишь эта ниточка окажется на пути у немцев, когда они, стремясь к Москве, выйдут на «дальние подступы», на наш рубеж.

Но...

Командиры рот сидели у лампы, помечая у себя на топографических картах минные поля.

Шел шуточный разговор — о тринадцатом числе.

— Для меня оно счастливое, — говорил лейтенант Краев, командир пулеметной роты: — я родился тринадцатого и женился тринадцатого. Что начну тринадцатого — все удастся, что пожелаю — все исполнится.

У него была особая манера говорить. Он бурчал себе под нос, и не всегда было ясно, шутит он или серьезен.

— Что ж, например, вы сегодня пожелали? — спросил кто-то.

Все с интересом взглянули на худое, крупной кости, расширяющееся книзу лицо Краева. За ним знали способность «отчубучивать».

— Фляжку коньяку! — буркнул он и захохотал.

Вошел начальник штаба Рахимов. Он всегда двигался быстро и бесшумно, словно не в сапогах, а в чукьяках.

— Товарищ комбат, ваше приказание выполнено, — сказал он обычным, спокойным тоном.

Я послал его с конным взводом в дальнюю разведку выяснить, далеко ли от нас идут бои. В штабе полка об этом не знали ничего определенного.

И вот Рахимов вернулся неожиданно быстро:

— Выяснили?

— Да, товарищ комбат.

— Докладывайте.

— Разрешите письменно? — спросил он, протягивая сложенный листок.

На бумаге были три слова: «Перед нами немцы». Меня охватил холодок. Неужели вот он, наш час?

Умен, очень умен Рахимов! Узнав от часового, что я в блиндаже не один, он, перед тем как войти, доверил эти три слова бумаге, чтобы не произносить их вслух, чтобы ни видом, ни тоном не внести сюда страха неожиданностью своего сообщения.

Я поймал себя на том, что и мне хочется скрыть это сообщение от других, словно этим я мог сделать недействительной действительность — отстранить, оттолкнуть ее.

Я взглянул на цветную схему, увидел минные поля; реку, очерченную противотанковым отвесом; окопы, крытые

четырьмя-пятью рядами бревен; пулеметы и орудия; представил еще одно: человека в шинели, бойца.

Я спросил по-казахски:

— Ты видел сам?

Рахимову я безусловно доверял и все-таки спросил.

— Да, — был ответ.

— Где?

— За двадцать — двадцать пять километров отсюда. В селе Середа и в других деревнях.

— А этот промежуток? Что там?

— Ничья земля.

— Ну, — сказал я по-русски, — ваше желание, Краев, кажется, исполнится: в наш адрес прибыло много фляжек с коньяком...

Все вопросительно смотрели.

— ...и с ромом, — продолжал я. — Переж нами немцы. Рахимов, сообщите обстановку.

Рахимова выслушали молча, и лишь Краев буркнул:

— Вот и хорошо!

— Чего же хорошего? — спросил кто-то.

— А стоять лучше? Перестоялись.

Не спросив разрешения, в блиндаж вбежал мой коневод Синченко.

— Товарищ комбат! Генерал сюда идет... — громко зашептал он.

Я быстро надел шапку, поправил гимнастерку и кинулся навстречу.

Но дверь уже открылась. К нам входил командир дивизии генерал-майор Иван Васильевич Панфилов.

2

Я вытянулся и отрапортовал:

— Товарищ генерал-майор! Батальон занимается укреплением оборонительного рубежа. Командиры роты копируют схему минных заграждений. Командир батальона старший лейтенант Баурджан Момыш-Улы.

Панфилов спросил:

— Чрезвычайные происшествия были?

«Знает!» мелькнуло у меня. Я ответил:

— Да, товарищ генерал. Трус, ранивший себя в руку, был расстрелян перед строем.

— Почему не предали суду?

Волнуясь, я стал объяснять.

Я говорил, что при других обстоятельствах я отдал бы его под суд. Но в данном случае надо было реагировать немедленно, и я принял на себя ответственность.

Панфилов не перебивал.

Впервые видел я его в полушубке. Мягкий, белой юфти полушубок, чуть отдававший приятным запахом дегтя, не перешитый по фигуре, был ему широк, но уже обмялся и, не топорщась, выказывал впалую его грудь, наискось перехваченную португеей, и сутуловатую спину. Слушая, генерал смотрел вниз, склонив морщинистую шею. Мне казалось, он не одобряет меня.

— Сами расстреляли? — спросил он.

— Нет, товарищ генерал: расстреляло отделение, командиром которого он был. Но приказал я.

Панфилов поднял голову.

Густые, круто изломанные брови над маленькими, чуть раскосыми глазами были сдвинуты.

— Правильно поступили, — сказал он.

Потом, подумав, повторил:

— Правильно поступили, товарищ Момыш-Улы. Напишите рапорт.

Теперь только он, казалось, заметил, что вокруг все стоят.

— Садитесь, товарищи, садитесь! — проговорил он и, расстегнув поясной ремень, стал снимать полушубок.

В суконной гимнастерке с незаметными, защитного цвета звездами сутуловатость обозначилась резче.

— Однако у вас, товарищ Момыш-Улы, холодновато! Почему не топите? И горячего чайку, наверное, нет?

Подойдя к железной печке, он потрогал остывшую трубу, заглянул за печку, словно чего-то искал, увидел топор и, присев на корточки, стал ловко, придерживая поленой рукой, несильными меткими ударами откалывать мелкие полешки.

К нему подбежал Рахимов.

— Товарищ генерал, разрешите я...

— Зачем? Я это люблю. В другой раз вам, конечно, самому придется позаботиться о своем командире.

Такова была манера Панфилова — он нередко делал замечания не напрямик, а таким боковым ходом.

Но, смягчая даже и эту чуть заметную резкость, он ласково добавил:

— Садитесь, товарищ Рахимов, садитесь! Сюда, на чурбачок.

Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь, кроме Панфилова, укладывал полешки тем же способом — шалашиком. Некоторые, покрупнее, он сперва взвешивал в руке. Один раз положил было плашку, но, поколебавшись, вытащил.

Не знаю, вам, может быть, кажется, что, даже растапливая печь, генералу не пристало колебаться, но когда Панфилов, подсунув бересты, чиркнул спичкой, в печке сразу затрещало.

С минуту он посидел у огня. Красноватые отсветы играли на пятидесятилетнем, с морщинками, но не усталом лице.

— Ну вот, — сказал он поднимаясь, — этак веселее... У вас готово, товарищ Момыш-Улы?

— Готово, товарищ генерал.

Я протянул короткий рапорт. Панфилов прочел у лампы, положил бумагу на стол, обмокнул перо и, вздохнув, написал: «Утверждаю».

3

На столе, как вы знаете, лежала отличная вычерченная схема нашей обороны.

Отодвинув рапорт, Панфилов долго смотрел на схему. — Закупорились, кажется, неплохо, — сказал он. — Но...

Чисто русским жестом он почесал затылок.

— Я потом с вами, товарищ Момыш-Улы, пройду. Посмотрю на местности... Обстановку знаете, товарищи?

Ответили неуверенно.

Панфилов достал из полевой сумки карту, уже чуть потрепанную, чуть потертую в сгибах, развернул и расстелил поверх схемы.

— Давайте-ка, товарищи, поближе, — сказал он. — Противник прорвался здесь и здесь.

Он указал несколько пунктов вблизи Вязьмы и, оглядев лица, — всем ли видно, всем ли понятно, — продолжал:

— Наши войска дерутся в районе Гжатска и Сычовки. Вот главные узлы сопротивления.

Не нажимая, он очертил тупым концом карандаша несколько неправильной формы кругловатых фигур в различных местах карты. Потом опять оглядел всех нас.

— Вы, может быть, думали, — сказал он, положив карандаш, — что вояки, которые в эти дни проходили мимо нас, это и есть наша армия?

Он улыбнулся, от маленьких глаз побежали гусиные



Панфилов достал из полевой сумки карту уже чуть потрепанную, чуть потертую в сгибах, развернул и расстелил поверх схемы.

лапки. Никто не решился кивнуть, только Краев мотнул головой.

— Признавайтесь, думали?

Никто не ответил. Панфилов затронул то, что тяжестью лежало на сердце у каждого.

— Нет, товарищи, армия дерется. Вы думаете, немцы дали бы нам сидеть здесь столько времени, если бы с ними не сражались наши боевые части? Сейчас противник вышел к нашей линии, но небольшими силами... Его сковывают войска, которые сражаются у него в тылу. У дивизии очень растянутая линия, но...

Панфилов помолчал.

— Нашей дивизии придано несколько артиллерийских противотанковых полков. Цифру я вам не назову. Это артиллерия главного командования.

Вновь взяв карандаш, Панфилов опять стал смотреть на карту. Его стриженная голова, черные волосы которой, казалось, были поровну — баш на баш — перемешаны с белыми, склонилась, пробегающие по топографическим значкам глаза сощурились, словно стараясь разглядеть что-то неясное.

— В чем же теперь задача? — негромко произнес он, как бы спрашивая самого себя. — Задача в том, чтобы встретить немцев этой артиллерией там, где они нанесут главный удар. Если главный удар случится здесь, у вас, здесь будет и артиллерия главного командования. Можете, товарищи командиры, передать это бойцам. Впрочем... Через сколько времени, товарищ Момыш-Улы, сможете собрать батальон?

— По тревоге, товарищ генерал?

— Нет, зачем по тревоге... Час достаточно?

— Да, товарищ генерал.

Приезжая к нам, Панфилов обычно после проверки боеготовности беседовал с батальоном. Он достал часы и подумал, поглаживая большим пальцем стекло.

— Не надо, товарищ Момыш-Улы. Не смогу — этот маленький старшина не позволяет! — Он указал на часы. — Ну вот, товарищи командиры, начнем воевать... Ползет немчура — уложим. Еще ползет — еще уложим. Перемалывать будем...

Панфилов поднялся, и все тотчас встал.

— Перемалывать...

Панфилов повторил это слово, которое дал Красной армии Сталин, и словно прислушивался, как оно звучит.

— Вы меня поняли?

Почти всегда Панфилов заканчивал этим вопросом, всматриваясь в лица тех, с кем говорил.

— А теперь... теперь не худо бы стакан чайку с дороги... Намек, товарищ комбат, кажется, был?

Я закричал:

— Синченко! Самовар! Бегом!

— Ого! Вы и самоваром обзавелись? Добре...

Все улыбались. Панфилов заражал ненаигранной, подчеркнутой уверенностью.

Отпустив командиров, он сложил и спрятал карту.

4

Вбежал Синченко с кипящим самоваром.

— Легче, легче! — сказал Панфилов. — Зачем с самоваром бегать?

— На то война, товарищ генерал, — бойко ответил Синченко.

— Для беготни?

Синченко ловко водрузил самовар.

— Бегаю с расчетом, товарищ генерал.

Это Панфилову понравилось.

— Добре, добре, — сказал он. — Но теперь, товарищ, воевать нам придется не с расчетом.

— А с чем, товарищ генерал?

— С тройным расчетом! — Панфилов засмеялся. — Зеленого плиточного чая нет?

Долго прожив в Средней Азии, Панфилов привык там к этому чаю.

— Не имеется, товарищ генерал.

— Жаль... Ну-ка, что завариваете?

Синченко подал начатый пакет. Панфилов посмотрел обертку, понюхал:

— Неплохой... Немного выдохся. В коробочку бы, товарищ... Ну-ка, давайте чайник, я займусь.

Дважды выполоскав небольшой белый чайник, он кинул туда щепотку, заглянул, прищурился и немного добавил. Потом без воды поставил на камфёрку.

— Пусть согрется, поживет, — пояснил он.

Перед нами были немцы, позади — Москва, а Панфилов у переднего края с толком и вкусом заваривал чай.

— Схему, товарищ Момыш-Улы, не убирайте, — сказал

он. — Давайте-ка вместе взглянем... Вы, товарищ Момыш-Улы, что-то невеселый!

Панфилов спросил мягко, а я чуть не упал, словно изо всей силы он ударил меня этим вопросом. Ведь лишь вчера я сам это же сказал бойцу. Неужели и я таков же?

— Что вас, товарищ Момыш-Улы, смущает? Не вставайте — сидите, пожалуйста, сидите!

— Видите ли, товарищ генерал... — С досадой я уловил в своем тоне неуверенность, ту самую, которую вытравлял у других. — Скажите, товарищ генерал, батальону так и придется держать семь километров?

— Нет. — Панфилов помолчал и, прищурившись, улыбнулся. — Нет. Сегодня я снимаю одну роту вашего полка. Потом, может быть, возьму другую. Так что вам, товарищ Момыш-Улы, придется еще прихватить километр-полтора.

— Еще километр?

— А как же быть, товарищ Момыш-Улы? Посоветуйте.

Панфилов сказал это без малейшей иронии и вместе с табуреткой придвинулся ко мне, как всегда очень живо, словно я, старший лейтенант, мог действительно что-то посоветовать генералу.

— Как же быть? — повторил он. — Ведь у нас ниточка, порвать ее нетрудно. Ну, порвет где-нибудь... А дальше?

Он с любопытством посмотрел на меня, ожидая ответа. Я молчал.

— Вот из-за этого-то «дальше» я и снимаю роты. Неосторожно?

Он спросил меня, словно это сказал я. Но я слушал, не раскрывая рта.

— Сейчас, товарищ Момыш-Улы, нельзя быть осторожным. Сейчас надо быть... — он лукаво прищурился, — трижды осторожным. Тогда, думаю, мы сможем на этой полосе, до Волоколамска, его с месяц поманежить.

— До Волоколамска? Отступить, товарищ генерал?

— Думаю, сидеть на месте не придется. А действовать так, чтобы, где бы он ни прорвался, везде перед ним были наши войска. Вы, меня поняли?

— Да, товарищ генерал, но...

— Говорите, говорите! Что вас еще смущает? Бойцы побаиваются немца, да?

— Да, товарищ генерал.

Стараясь быть кратким, я стал докладывать. Впрочем, здесь не вполне подходит это слово. Панфилов умел слу-

шать столь живо, что казалось — говоришь что-то очень для него существенное, что-то очень умное. Я сам не заметил, как стал не докладывать, а рассказывать, рассказывать так, как видел и чувствовал.

Когда я умолк, Панфилов некоторое время думал.

— Да, товарищ Момыш-Улы, — произнес он наконец, — сейчас нам ничто другое не страшно. Только это страшно.

Он встал, подошел к самовару, налил в чайник кипятку, вновь поставил на камфорку и вернулся.

Не садясь, он склонился над разрисованным листом и опять, как при первом взгляде, сказал:

— Закупорились крепко.

Это, однако, не звучало одобрением.

— Что-то очень сперто. Не мало ли вы тут оставили проходов? — Взяв карандаш, он указал на минные поля. — Не заперли ли вы, товарищ Момыш-Улы, самих себя?

— Но ведь это впереди, товарищ генерал, — удивленно сказал я.

— То-то и оно, что впереди. Не шевельнешься, тесно.

Подумалось: «Тесно? У меня на семи километрах тесно? Что он говорит!»

Не нажимая, Панфилов тонкими штрихами пометил несколько проходов в минных заграждениях. Я все еще не понимал зачем. А Панфилов легкими касаниями простого черного карандаша — иных он не любил — перечеркнул красивый оттиск нашей оборонительной линии и наметил стрелку, устремленную вперед, в расположение немцев.

Я не мог сообразить, чего он хочет. Чтобы мы пошли в наступление, чтобы атаковали скапливающуюся немецкую армию? И это после того, как он сообщил, что снимает роту, что батальону предстоит растянуться еще на километр-полтора? После того, как говорил, что теперь надо быть трижды расчетливым и трижды осторожным? После того, как произнес: «До Волоколамска»? И что это — приказ? Но разве так приказывают?

— На вашем месте, — сказал он, легонько штрихуя стрелку, — я вот о чем подумал бы...

От острия стрелки, направленной в расположение немцев, он провел завиток, обозначающий возвращение на рубеж, и взглянул на меня.

— ...подумал бы... А то в вашей картинке даже и мысли об этом я не вижу.

Вынув часы, Панфилов повернулся к самовару.

— Этот господин тоже требует внимания. Давайте-ка по стакану чая — и пойдем.

— Ночевать у нас будете, товарищ генерал? — спросил Синченко.

— Нет, товарищ. Теперь ночевать некогда, теперь и ночью приходится дневать.

Он улыбнулся, снял чайник, поднял крышку, понюхал и сказал:

— Вот это напиток!

Подавая мне стакан, он хитро прищурился:

— А ведь сегодня у нас небольшой юбилей — нашей дивизии сегодня стукнуло ровно три месяца от роду. Следовало бы ознаменовать поосновательнее, но... это успеется... И ровно три месяца, как мы с вами, товарищ Момыш-Улы, первый раз встретились. Помните, как вы лихо промаршировали?

И он опять улыбнулся.

ТРИ МЕСЯЦА НАЗАД

1



а, я помнил. Это было ровно три месяца назад, тринадцатого июля 1941 года.

В военном комиссариате Казахстана, где я служил инструктором, полагался перерыв на обед от двенадцати до часу. Пообедав, я шел из столовой. Вижу, среди двора стоит невысокий сутуловатый человек в генеральской форме. Рядом два майора.

В Алма-Ате мы редко встречали генералов. Я присмотрелся.

Генерал стоял спиной, заложив руки назад и слегка расставив ноги. Лицо, видное вполборота, показалось мне очень смуглым — почти таким же черным, как мое. Опустив голову, он слушал одного из майоров. Из-под высокого генеральского воротника выглядывала исчерна-загорелая, в крупных морщинах шея.

По званию артиллериста я носил шпоры и — должен сознаться в этой слабости — не простые, а серебряные на концах, с так называемым малиновым звоном.

Миная генерала, дал строевой шаг. Впечатал ногу — дзиль! Другую — дзиль!

Генерал повернулся, посмотрел и откозырнул. В усах,

подстриженных по-английски, двумя квадратиками, не проглядывала седина. Заметно выдавались скулы. Сощуренные узкие глаза были прорезаны по-монгольски, чуть вкось. Подумалось: татарин.

Войдя в комнату, я спросил товарищей:

— Что за генерал? Зачем он к нам пришел?

Мне объяснили: это генерал Панфилов, военный комиссар Киргизии.

Знаете ли вы, что такое военный комиссар республики? Это глава военкомата — советского учреждения, ведающего учетом военнообязанных, мобилизацией, допризывной подготовкой. Между нашими двумя военкоматами — казахским и киргизским — существовал договор социалистического соревнования. Раз или два в год договор перезаключался. Все думали, что для этого, вероятно, и приехал генерал.

Я сел за стол, придвинул папку, раскрыл. Помню, в тот день я составлял план комсомольского кросса. Это было, конечно, нужным и важным, можете сами подобрать подходящие выражения, но... но во мне жило тягостное неудовлетворение.

Почти месяц назад началась война, в газетах появлялись названия новых направлений, новых городов, захваченных врагом, а я, старший лейтенант Красной армии, сидел в Алма-Ате, за три тысячи километров от фронта, и составлял план кросса.

Не то! Не то, Баурджан!

2

Отворилась дверь, и вошел генерал. С ним оба майора. Мы встали.

— Садитесь, садитесь! — сказал генерал. — Кто здесь старший лейтенант Момыш-Улы?

Что такое? Почему он спрашивает меня? Я взволнованно встал. Генерал улыбнулся.

— Садитесь, товарищ Момыш-Улы, садитесь!

Он говорил хрипловато и негромко. Подойдя ко мне, он придвинул стул, сел, снял генеральскую, с красным околышем, фуражку и положил на стол. В черных волосах, стриженных под машинку, обильно пробивалась седина.

В фигуре, в лице, в манере говорить и держаться не было, казалось, ничего повелевающего. И лишь брови, круто изломанные почти под прямым углом, странно про-

тиворечили этому. Бровей, как и усов, седина не коснулась.

— Будем знакомы, — сказал он. — Меня зовут Иван Васильевич Панфилов. Знаете ли вы, что у вас в Алма-Ате будет формироваться новая дивизия?

— Нет, не знаю.

— Так вот, командиром дивизии назначен я. По приказу Среднеазиатского военного округа вы направлены в дивизию в качестве командира батальона.

Он достал и вручил мне предписание.

— Сколько времени вам нужно, чтобы сдать дела?

— Немного. Могу через два часа явиться.

Он подумал.

— Этого не надо. Вы женаты?

— Да.

— Тогда сегодня прощайтесь с семьей и приходите ко мне в двенадцать часов завтра.

3

Назавтра без пяти минут двенадцать я всходил по широким ступеням на крыльцо Дома Красной армии. Мне указали комнату, где поселился генерал.

Чуть сутулясь, вобрав голову в плечи, он сидел за большим письменным столом, просматривая какие-то бумаги. В дальнейшем мне довелось много встречаться с Панфиловым, но лишь в этот раз я видел его с бумагами. Единственной бумагой, которая потом, под Москвой, всюду сопровождала его, была топографическая карта.

Карта лежала перед ним и теперь. Я ее сразу узнал: это был план города и окрестностей Алма-Аты. На ней лежали с отстегнутым ремешком карманные часы.

Взглянув на часы, генерал быстро поднялся и, отодвинув тяжелое кресло, выбрался из-за стола. Походка была легкой, в ней не чувствовался возраст.

Мы разговаривали стоя. Панфилов то прохаживался, то останавливался, заложив руки за спину и слегка расставив ноги.

— Так вот, товарищ Момыш-Улы, — начал он, — дивизии пока нет. Ни штаба нет, ни полков, ни батальонов. И вам, значит, командовать мекем. Но все это будет, все это мы сформируем. А пока вам придется мне помочь. Я хочу с вами посоветоваться...

Генерал шагнул к столу, перелистал бумаги, нашел нужную и, обернувшись ко мне, сказал:

— Как вы думаете, где бы нам побыстрее полудить котлы?

В моем взгляде выразилось, вероятно, изумление, и генерал разъяснил:

— Ведь наша дивизия будет вроде ополченской: она формируется сверх плана. На новенькое рассчитывать нечего. И требовать не станем.

Пришлось отвечать и на многие другие, большей частью такие же странные вопросы, причем я не мог отделаться от впечатления, что Панфилов интересуется тем, чем, казалось бы, не пристало интересоваться генералу.

Напоследок, протянув бумагу, он дал мне поручение.

— Тут указаны адреса помещений, — сказал он, — которые выделены нам для формировочных пунктов. Надо взглянуть, проверить, все ли они подходящи. Посмотрите дворы: будет ли где шагать? Имеются ли кухни, плиты, кипятильники? Не малы ли уборные? Если уборные неподходящие, откажемся.

Я опять удивился: прилично ли генералу заниматься уборными? Но тотчас подумал: «А ведь сам я, вероятно, не сообразил бы этого».

Отдавая мне список и взглядываясь в мое лицо, Панфилов спросил:

— Вы поняли меня?

— Да, товарищ генерал.

Он взял часы.

— Сколько времени вам для всего этого понадобится?

— К вечеру сделаю, товарищ генерал.

Круто изломанные брови недовольно поднялись:

— Что значит к вечеру?

— К шести часам, товарищ генерал.

Он подумал.

— К шести... Нет. Доложите мне об исполнении в восемь часов.

4

Проходили дни, я исполнял мелкие поручения генерала. Меж тем рождалась дивизия, прибывали командиры.

Однажды, выйдя от Панфилова, я увидел: навстречу шагает полковник артиллерии. У него были длинные ноги и длинное лицо с двумя резкими морщинами у рта.

Я посторонился. Полковник взглянул на мои петлицы и остановился.

— Артиллерист? — отрывисто спросил он.



Мы разговаривали стоя. Панфилов то прохаживался, то останавливался, заложив руки за спину...

- Да, товарищ полковник.
- В мое распоряжение:
- Не могу знать. Назначен командиром батальона.
- В пехоту? Как так? Идемте к генералу.

По ходу разговора у генерала я понял, что стремительный полковник был только что прибывшим командиром артиллерийского полка нашей дивизии.

— Прикажите ему, товарищ генерал, отправиться в мое распоряжение. И пусть принимает сегодня же дивизион.

Панфилов обратился ко мне:

— А вы, товарищ Момыш-Улы, что об этом думаете? Справитесь с дивизионом?

— Нет, товарищ генерал, не справлюсь.

Панфилов уселся поудобнее. В сощуренных, монгольского разреза глазах мелькнуло любопытство. Такова была одна из его черточек: непогашенное возрастом, удивительное в его годы любопытство. Он, казалось, с интересом ожидал: «А ну, что скажете вы, полковник?»

— Как не справитесь? — сердито спросил полковник. — Батареи командовали?

— Да.

— Ну и хорошо... Или, может быть, вместо вас послать в дивизион майора? Может быть, окончившего академию? Таких ни одного нам не дадут. Прошу, товарищ генерал, считать вопрос решенным.

Но я почтительно и твердо сказал:

— Я, товарищ генерал, обязан быть честным. С дивизионом не справлюсь, образование мое недостаточно.

Знаете ли вы, кто виноват в моем упорстве? Профессор Дьяконов, даже и не подозревающий, вероятно, о моем существовании. Ему, автору капитального трехтомного труда «Теория артиллерийского огня», поклоняются артиллеристы. Не зная высшей математики, окончив после средней школы лишь девятимесячные артиллерийские курсы, я не совладал с этим сочинением. Какой же из меня командир дивизиона, как я буду управлять сосредоточенным огнем батарей, если не могу вычислить выстрел «по Дьяконову», не умею дать точного «дьяконовского залпа»?

Впоследствии, наблюдая артиллерию и артиллеристов на войне, я понял, что прав был не я, а полковник. Война — лучшая академия, и, повоював, я командовал бы не хуже других и не посрамил бы артиллерию.

— Чего же вы хотите? — спросил полковник.

— Батарею, — сказал я.

— Что вы! У меня младшие лейтенанты сидят на батареях. Хотите в штаб? Помощником начштаба?

У меня вырвалось:

— Боже избави!

Генерал, с интересом следивший за нашим разговором, рассмеялся.

— Напрасно, товарищ Момыш-Улы, напрасно... Штаб необязательно бумага.

Затем, став серьезным, добавил:

— Я подумаю. Идите, товарищ Момыш-Улы.

5

Продолжение последовало в эту же ночь.

Я был дежурным по штабу. Панфилов работал далеко за полночь. Как обычно, он вызывал и вызывал командиров.

Рождалась дивизия. В пустующие летом школы, ставшие пунктами формирования, приходили в эти дни из города и окрестных колхозов призванные в армию — сплошь немолодые, тридцати — тридцати пяти лет, не побывавшие, в большинстве, на военной службе. Люди средних лет, с образованием, числящиеся в военкоматах под особой рубрикой вневоисковиков, направлялись в дивизию, формируемую сверх плана, подобно ополченским.

В этот час они — будущие панфиловцы — спали.

Наконец и у нас, в большом каменном доме, стало тихо.

Скрипнула дверь, в коридоре послышались шаги. Я встал и opravил гимнастерку, узнав походку генерала.

Он заглянул в открытую дверь.

— Вы здесь, товарищ Момыш-Улы? Дежурите?

Панфилов шел с полотенцем, без генеральского кителя, в белой нижней рубашке. Лицо было утомленным.

В комнате было накурено. Панфилов распахнул окно и присел на подоконник.

— Думал о вас, товарищ Момыш-Улы, думал, — сказал он. — Посоветуйте-ка, что с вами делать?

— Я, товарищ генерал, отправлюсь туда, куда мне прикажут. Но если вы спрашиваете мое мнение...

— Садитесь-ка, садитесь!.. Да-да, если спрашиваю ваше мнение...

— ...то я попросил бы, товарищ генерал, не дивизион, а батарею. Или батальон.

— Батальон? Батальоном, товарищ Момыш-Улы, тоже

нелегко командовать... Общевоинской тактикой вы интересовались? Читали что-нибудь об этом?

Я перечислил кое-что прочитанное.

— А отступательный бой? Интересовались этим?

— Нет, товарищ генерал...

— Да, батальоном вам нелегко будет командовать, — повторил Панфилов.

Он посмотрел на меня так, что я покраснел. Заговорило самолюбие.

— Возможно! — выпалил я. — Но умереть сумею с честью, товарищ генерал!

— Вместе с батальоном?

— Вместе с батальоном.

Неожиданно Панфилов рассмеялся.

— Благодарю за такого командира!.. Нет, товарищ Момыш-Улы, сумеете-ка принять с батальоном десять боев, двадцать боев, тридцать боев и сохранить батальон! Вот за это солдат скажет вам спасибо.

Он соскочил с подоконника и сел рядом со мной на клеенчатый диван.

— Я сам солдат, товарищ Момыш-Улы. Солдату умирать не хочется. Он идет в бой не умирать, а жить. И командиры ему нужны такие. А вы этак легко говорите: «Умру с батальоном»! В батальоне, товарищ Момыш-Улы, сотни человек. Как же я вам их доверю?

Я молчал. Молчал и Панфилов, вглядываясь в меня. Наконец он сказал:

— Ну, что скажете, товарищ Момыш-Улы? Возьметесь вести их в бой — не умирать, а жить?

— Возьмусь, товарищ генерал.

— Ого, вот ответ солдата! А знаете ли вы, что для этого надо?

— Разрешите, товарищ генерал, просить, чтобы вы это сказали.

— Хитер, хитер!.. Во-первых, товарищ Момыш-Улы, вот это... — он похлопал себя по лбу. — Скажу вам по секрету, — он шуточно оглянулся и, привстав, шепнул: — на войне тоже бывают дураки!

Потом, перестав улыбаться, продолжал:

— И нужна еще одна очень жестокая вещь... очень жестокая: дисциплина!

У меня вылетело:

— Но ведь вы...

И я прикусил язык.

— Говорите, говорите. Вы хотели сказать что-то обо мне?

Но я не решался.

— Говорите! Что же, придется приказать?

— Я хотел сказать, товарищ генерал... Ведь вы же такой мягкий...

— Ничего подобного. Это вам кажется.

Мои слова его, видимо, задели. Он встал, взял полотенце, прошелся.

— Мягкий... Имейте в виду, товарищ Момыш-Улы, управляют не криком. Мягкий... Вовсе не мягкий!.. Ну, что-ж, принимать дивизион не хочется? А?

Я ничего не ответил, лишь посмотрел на генерала.

Он сказал:

— В академию бы вам надо... Ну, бог с вами! Обидится на меня полковник, но... выдержу как-нибудь отступательный бой... Будете командовать батальоном!

— Есть командовать батальоном, товарищ генерал!

Так случилось, что я, артиллерист, стал командиром батальона.

6

Еще несколько дней я пробыл в штабе. Присматриваясь, я старался распознать: как может управлять дивизией этот добрый, мягкий человек, лишенный, казалось бы, того, что именуется «напористостью»?

Однако он не всегда был мягок.

Однажды я видел, как, привыкнув, очевидно, к его постоянному: «Садитесь, пожалуйста, садитесь», штабной командир, войдя к Панфилову, сел без приглашения.

— Встаньте! — резко сказал Панфилов. — Выйдите отсюда. Немного подумайте за дверью, потом войдете снова.

Отдавая какие-либо приказания, Панфилов никогда не забывал проверить, выдержан ли срок исполнения. У него был излюбленный жест — поглаживать большим пальцем выпуклое стекло карманных часов. Иной раз казалось, он ласкает любимое маленькое существо. В случае опоздания он требовал объяснений. Однажды мне довелось быть свидетелем, как он отчитывал командира, не исполнившего его задания в срок:

— Вы недобросовестный, недисциплинированный работник. Я знаю вас всего несколько дней, но, к сожалению, вы уже показали себя как лентяй.

Его странные брови сошлись, и излом, казалось, стал круче. Он не кричал, а говорил чуть громче и чуть отчетливее, чем обычно. Тем тяжелее ложились слова.

В мою память врезался незначительный случай.

По поручению генерала я с красноармейцем принимал и перевозил в склад первый миномет, прибывший в адрес дивизии. Панфилов захотел посмотреть миномет.

Я крикнул из окна помогавшему мне красноармейцу:

— Тащи со склада миномет сюда! Скорее! Чтобы через пять минут был здесь!

Повернувшись, я увидел, что Панфилов, прищурившись, смотрит на меня. Это был тот же иронический взгляд, под которым я однажды покраснел.

— Через пять минут, товарищ Момыш-Улы, он не успеет, — сказал генерал.

Панфилов ничего к этому не добавил. Но меня поразило это простенькое замечание.

Сколько раз я, не думая, прикрикивал этак: «Через пять минут!» А Панфилов думал.

ТАБАЧНЫЙ МАРШ

1



И наступил день, когда я, попрощавшись с генералом, отправился принимать батальон.

Мы с вами уже договорились — природу не описывать. Другие это сделают лучше.

Когда-нибудь после войны вы приедете летом ко мне в гости; увидите, как хорош Казахстан; опишете окрестности Алма-Аты, станицу Талгар и бурную горную речку Талгарку.

В станице я разыскал здание Сельскохозяйственного института, где расположился батальон. Познакомился с начальником штаба, худощавым подвижным казаком Рахимовым, вчерашним агрономом, еще одетым в штатское. На его пиджаке поблескивал значок альпиниста. Но мой альпинист не умел ни стать по уставу, ни доложить.

Вместе с ним я обошел помещение. Всюду полно, но в военной форме только я один. Люди бродили по коридорам, лежали; в одной комнате пели; из коридора перекликались через окна с женщинами. Никто не командовал: «Смирно!», никто не приветствовал командира.

Я увидел окурки, тяжело вздохнул и приказал построить батальон.

Строились неумело, долго. Я стоял в стороне, смотрел и думал. Представьте себе этот строй: многие вышли в майках, некоторые — в тапочках, кто посolidнее — в пиджаках. Одни в кепках, другие с непокрытой головой.

Альпинист кое-как подровнял ряды, скомандовал: «Смирно!» и уставился на меня, вместо того чтобы доложить. Я опять вздохнул и подошел к строю.

Поздоровался. Ответили, кто как сумел.

Представившись, я сообщил, что назначен командиром батальона. Затем я сказал:

— Вы еще носите гражданскую одежду, но родина уже поставила вас в строй. Вчера вы были людьми разных профессий, разного достатка — вчера среди вас были и рядовые колхозники и директора. С сегодняшнего дня вы бойцы и младшие командиры Красной армии. А я ваш командир. Я приказываю — вы подчиняетесь.

Я нарочно говорил резко.

— Вчера вы могли спорить с начальником; вчера вы имели право обсуждать, правильно ли он сказал, законно ли он поступил. С сегодняшнего дня у вас один закон: приказ командира. Военский порядок суров, но этим держится армия. Хотите отразить врага, который ринулся поработить нашу страну? Знайте: так надо для победы!

Затем кратко сказал о честности, совести и чести. Честность перед родиной, перед своим правительством, перед командиром — высшее достоинство воина. Честен тот, у кого есть совесть.

— Пусть у тебя есть знания и способности, пусть у тебя есть ловкость и сноровка, но если у тебя нет совести, не жди от меня пощады!

И, наконец, честь. Это я объяснил по-своему. Есть две казахские поговорки. Одна говорит: «Заяц умирает от шороха камыша, герой умирает из-за чести». В другой всего три слова: «Честь сильнее смерти».

Когда я закончил, из строя раздался смелый голос:

— Товарищ комбат, разрешите сказать...

На полшага из шеренги выдвинулся дюжий парень с завидным румянцем, в легкой черной рубашке.

— Не разрешаю, — сказал я. — Здесь не митинг. Командиры рот! Развести подразделения!

Такова была моя первая речь, первое знакомство с батальоном.



— Вы еще носите гражданскую одежду, но родина уже поставила вас в строй... С сегодняшнего дня вы бойцы и младшие командиры Красной армии.

Я шел коридором в приготовленную для меня комнату.

— Товарищ комбат! Разрешите сказать...

Передо мной стоял он же — тот, кто первый назвал меня комбатом. Волосы, еще не снятые машинкой, на затылке были подстрижены наголо, а из-под кепки курчавился чуб.

— Как фамилия? — спросил я.

— Боец Курбатов.

Он держался по-военному, вытянувшись в стойке «смирно».

— В армии служил?

— Нет, товарищ комбат. Служил в железнодорожной воензированной охране.

— Вот, товарищ Курбатов: прежде чем обратиться к комбату, надо иметь на это разрешение командира роты. Ступайте к нему.

— Оп, товарищ комбат, не принимает во внимание... Я насчет охраны... Задняя дверь, товарищ комбат, не охраняется. Калитка тоже. А вдруг, товарищ комбат...

«Молодец!» подумалось мне. Мне нравились его порыв, его настойчивость, открытый взгляд, развернутые плечи. Но я произнес иное:

— Кру-гом!

Курбатов вспыхнул. Взгляд стал пристальным, недобрый. Я понимал его. Но тоже смотрел пристально. Мгновение поколебавшись, Курбатов по-солдатски повернулся и зашагал по коридору. Даже покрасневшая шея казалась оскорбленной.

Я сказал Рахимову, который был возле:

— Товарищ начальник штаба, бойца Курбатова назначьте командиром отделения.

Сзади меня кто-то тронул. Обернувшись, я заметил неуверенно отдернутую руку.

— А я к своему командиру обращался. Он сказал — к вам, товарищ комбат...

Я увидел человека в очках. Это была первая встреча с Муриным. В пиджаке, с галстуком, немного съехавшим набок, он говорил улыбаясь и не знал, куда девать руки. Тонкие кисти и бледное удлиненное лицо почти не загорели, несмотря на то что стоял июль.

— Я нестроевик, товарищ комбат, а попросился в батальон, — объявил он с гордостью. — Я доказал, что в

счках у меня полная коррекция. Вон на потолке — посмотрите, товарищ комбат, муха! Я ее ясно вижу.

— Хорошо, товарищ. Убедился. Датьше.

— Но и в батальоне, товарищ комбат, меня зачислили в нестроевые. Дали лошадь и повозку. А я абсолютно не имею понятия, что такое лошадь. И не для этого я шел. Я прошусь, товарищ комбат, в строй. Хочется, товарищ комбат, пулеметчиком!

Узнав фамилию, я сказал:

— Это можно, товарищ Мурин. Переведу. Идите.

Но он, казалось, не был уверен, что дело на этом кончено. Ему не терпелось привести дополнительные доводы.

— Я слышал вашу речь, товарищ комбат. Это совершенно правильно. Каждый ваш приказ, товарищ комбат, будет для меня законом.

— Идите, — повторил я.

Он взглянул с удивлением и как ни в чем не бывало продолжал:

— Я, товарищ комбат, музыкант. Аспирант консерватории. Но теперь, товарищ комбат, все должны стрелять!

Для убедительности он повертел пальцами. Я крикнул:

— Как вы стоите? Руки!

Мурин оторопело вытянулся.

— Я два раза сказал вам. идите! А вы? Вам кажется, что вы проситесь на самое трудное — стрелять. Нет, товарищ Мурин, самое трудное, самое тяжелое в армии — подчиняться!

Мурин открыл было рот, желая что-то возразить, но я продолжал:

— Вам множество раз покажется, что командир несправедлив, вы захотите поспорить, а вам крикнут: молчать! Я вам это обещаю. Идите.

Мурин отошел.

3

В этот день я знакомился с командирами рот и взводов, составлял строевое расписание, занимался караулами, связью, хозяйством — и лишь поздно вечером остался один.

Достав из полевой сумки уставы пехоты, которыми меня снабдили в штабе, я принялся читать. Потом отодвинул их и стал думать.

Идет Великая отечественная война. Гитлеровцы с каждым днем все глубже врезаются в нашу территорию. Сейчас, месяц спустя после вторжения, они уже добрались

до Смоленска, перешагнули Днепр и, судя по карте, стремятся быстро захватить Ленинград, Москву и Донбасс. Их ставка, тактика и вера — молниеносность. Они рассчитывают покончить с нами прежде, чем мы развернем резервы.

Когда же генеральный штаб Красной армии вызовет на фронт нашу дивизию? Сколько дней, сколько недель нам будет дано для обучения?

События развиваются столь быстро, обстановка на фронте столь напряжена, что верховное главнокомандование может оказаться вынужденным послать нас в бой через три-четыре недели.

Как в такой невероятно короткий срок превратить людей, беспокойно спящих сейчас под этой крышей, людей здоровых, честных, преданных родине, но не военных, не вышколенных армейской дисциплиной, — как превратить их в боевую силу, способную устоять перед врагом и стать страшной для него?

4

Не буду во всех подробностях рассказывать, как шла подготовка бойцов. На рассказ об этом нам нехватило бы дня.

Опишу лишь один марш, который в батальонных сказаниях, пока не записанных никем, назван «табачным маршем».

Минуло семь-восемь дней, как я принял батальон. Мы были уже обмундированы и вооружены; уже работали с винтовкой, окапывались, перебежали, ползали, маршировали.

Однажды вечером мы получили приказ: выступить с рассветом в пятидесятикилометровый марш, достичь одной отметки в долине реки, заночевать там и к исходу следующего дня, вновь проделав те же пятьдесят километров, вернуться в Талгар. Столь же тяжелые маршруты были даны и другим батальонам — генерал Панфилов втягивал дивизию в переходы.

Люди с вечера готовились к маршу, ночью отдыхали, а на зорьке, когда еще не выкатилось солнце, батальон был выстроен.

Вам, не побывавшему солдатом, наверное показалось бы, что перед вами грозная воинская часть. Ряды хорошо выровнены; на винтовках поблескивают новенькие штыки; бойцы, как один, в полном походном снаряжении; как один — в скатках, с противогозами и саперными лопатками, в зеленоватых не выцветших чехлах, со стальными каска-

ми, притороченными к вещевым мешкам; на поясных ремнях, слегка оттягивая их, висят гранаты и подсумки с боевыми патронами — по сто двадцать на бойца.

Слегка оттягивая... А у многих и не слегка — глаз сразу отметил это. Я видел нетуго свернутые, разбухшие скатки; вещевые мешки с неподтянутыми лямками; гранатные сумки, свисающие на живот. Лишь немногие выделялись настоящей солдатской подгонкой. Среди таких был Курбатов.

Вызвав Курбатова из строя, я сказал:

— Товарищи! Вот младший командир, который подготовил снаряжение для марша, как положено солдату; на марше ему будет легче, чем другим. Посмотрите, как у него все прилажено, как подтянут у него ремень! Я двадцать раз объяснял вам это, показывал, но вы все-таки не понимаете. Наверное, мой язык недостаточно остер. Больше говорить я не буду, а предоставлю слово вашей скатке, вашей лопате, вещевому мешку. Пусть они поговорят с вами. Думаете, у них нет языка? Есть! И поострей, чем у меня! Боец Гаркуша, ко мне!

Подбежал всегда улыбающийся курносый Гаркуша. Гранатная сумка сползала у него наперед и болталась на ходу.

— К маршу готов?

— Готов, товарищ комбат.

— Становись рядом с Курбатовым. Боец Голубцов, ко мне!

У Голубцова скатка была так толста, что налезала на щеку. Вещевой мешок лежал не на спине, а на мягком месте.

— К маршу готов?

— Готов, товарищ комбат.

— Становись рядом с Гаркушей.

Набрав таким образом человек десять, на которых все особенно обвисло, я поставил их в голове колонны.

— Батальон, смирно! Напра-во! За мной, шагом марш! Мы двинулись.

Я пошел рядом с теми, кого вызывал, кося на них взглядом. Минут десять-пятнадцать они шагали легко. Гранатная сумка все время чуть-чуть постукивала Гаркушу между ног. Наконец к сумке потянулась рука, чтобы сдвинуть.

Голубцову захотелось оттолкнуть скатку — грубый шинельный ворс стал натирать шею.

Третьего саперная лопатка ударяла по заду.

Они на ходу поправляли; это не помогало.

Еще через десять минут Гаркуша перегнулся назад и выпятил живот, чтобы сумка не болталась. Поймав мой взгляд, он через силу улыбнулся. Голубцов, вертя шеей, старался лицом отпихнуть скатку. Ему стал досаждать и вещевой мешок. Сунув руку под лямку, Голубцов хотел незаметно подтянуть мешок вверх. А Гаркуша уже не выпячивал живота. Он шел скособочившись и замедляя шаг.

Я приказал:

— Гаркуша! Шире шаг! От Курбатова не отставать!

Проклятая сумка опять стала ударять.

Так мы прошли шесть километров. Я опять показал бойцам на Курбатова, потом крикнул:

— Гаркуша, ко мне!

Он подбежал согнувшись. В строю засмеялись.

— Ну, Гаркуша, докладывай. К маршу готов?

Он мрачно молчал.

— С гранатной сумкой говорил?

— Говорил...

— Ну, расскажи бойцам, что она тебе сказала.

Он молчал.

— Расскажи, не стесняйся!

— Чего им рассказывать? Наш брат словам не верит, дай, скажет, пощупать.

— Ну, пощупал?

— Я-то ее не щупал, а вот она...

Тут Гаркуша отмочил такое, чего не пишут на бумаге. Бойцы хохотали. Отведя душу, смеялся и он.

Я подозвал Голубцова — вспотевшего, с натертой докрасна шеей.

— Посмотрите-ка, товарищи, теперь на этого. С тобой скатка побеседовала? Вещевой мешок беседовал? Расскажи, чему они тебя учили.

Заставил и Голубцова говорить перед бойцами. Так, одного за другим, продемонстрировал всех, кого особенно помучили вещи. Потом сказал:

— Кому тяжело идти, когда толста скатка, когда гранатная сумка не на месте, вещевой мешок не на месте? Бойцу или командиру батальона? Бойцу! Я двадцать раз это объяснял, но вы, наверное, думали: «Ладно, сделаем для него, чтобы не приставал!» И делали кое-как. А оказалось, не «для него», а для себя. Некоторым вещи уже втолковали это. Сейчас на привале пусть каждый заново подгонит снаряжение. Если увижу, что и теперь кто-нибудь

меня не понял, того вызову из строя — пусть при мне побеседует с вещами, пусть убедится, что у них язык поострей, чем у меня.

После этого привала мне уже не пришлось никого вытаскивать из строя. Никто не захотел беседовать с вещами.

5

Батальон опять двинулся.

Пятьдесят километров по июльскому солнцу — нелегкая дистанция, особенно для людей, не втянутых в походы.

Смотрю, роты растягиваются, кое-кто начинает отставать. Сделал замечание командирам. Через некоторое время проверяю строй вновь. Замечания не помогли, колонна растягивается все длиннее. Поговорил с командирами рече. Опять не подействовало. Командиры сами устали, некоторые ковыляли.

Я выехал вперед и крикнул:

— Передать по колонне: командира пулеметной роты в голову колонны!

Через четверть часа прибежал, запыхавшись, длинноногий Краев:

— Товарищ комбат, явился по вашему приказу!

— Почему ваша рота растянулась? Когда будете соблюдать дистанцию? Пока не наведете порядка, до тех пор буду вызывать в голову колонны. Всё. Идите!

А ведь бежать в обгон батальонной колонны нелегко: это почти километр.

Потом таким же манером вызвал командира второй роты Севрюкова. Это был пожилой человек, до войны главный бухгалтер табачной фабрики в Алма-Ате. Нагнав меня, он не сразу отдышался.

Выслушав, Севрюков сказал:

— Людям, товарищ комбат, очень тяжело. Нельзя ли сложить часть груза на повозки?

Я ответил:

— Выбейте эту дурь из головы!

— Но тогда как же, товарищ комбат, быть с отстающими? Как заставить, если человек не может?

— Чего не может? Выполнить приказ?

Севрюков промолчал.

По одному разу все командиры рот побывали у меня.

Но для Севрюкова оказалась недостаточной первая прогонка. В хвосте его роты тащились отстающие.

Я посмотрел на него — сорокалетнего, усталого, шагающего впереди роты. С седоватых, аккуратно подстриженных висков по запыленному лицу скатывались струйки пота. Неужели надо заставить его еще раз бежать? Ведь ему так трудно это! Но как быть? Он жалеет людей, я пожалею его, а потом... Что будет с нами потом — в боях?

Я послал лошадей рысью и, выехав вперед, крикнул:

— Командира второй роты в голову колонны!

На этот раз помогло.

Вновь пропуская строй, я увидел: Севрюков шел уже не впереди, а позади роты. Он выглядел злее, энергичнее, и даже голос изменился: ко мне донесся резкий командирский окрик.

Вся колонна подтянулась, обозначились четкие просветы, никто не отставал.

Так мы и пришли на место, покрыв пятьдесят километров без единого отставшего.

Но люди устали. После команды: «Разойтись!» все пластом повалились на траву. Все думали: скоро раздадут обед, поедим — и спать.

Но не тут-то было.

6

На марше с нами следовало, как положено, несколько походных кухонь. Однако, когда мы пришли к месту ночевки, я приказал: дров для кухонь не готовить, продукты в котлы не закладывать, а раздать продукты сырыми на руки бойцам по установленной красноармейской норме: мяса — столько-то граммов, крупы — столько-то, жира — столько-то, и так далее.

У командиров, у бойцов — глаза на лоб. Ведь все сырое, что с этим делать? Многие во всю жизнь никогда не стряпали, не знали, как сварить суп. Поднялся шум:

— У нас есть кухни! Нам обязаны варить обед в кухнях.

Я гаркнул:

— Замолчать! Исполнять, что сказано! Пусть каждый боец сам себе готовит ужин!

И вот в широкой казахстанской степи, на берегу реки Или запылало несколько сот костров. Некоторые мои бойцы были так утомлены, так раскисли, что не стали варить, а повалились спать голодными. У некоторых подгорела каша, ушел суп — они больше испортили, чем съели. Для них это был первый урок кулинарии.

Утром я опять велел не разжигать кухню, а раздать паек на руки бойцам.

Затем, после завтрака, батальон был построен, и я обратился с речью к бойцам. Она была примерно такова:

— Первое: вы, товарищи, недовольны, что марш такой длинный, такой тяжелый. Это сделано нарочно. Нам предстоит воевать, предстоит пройти не пятьдесят и не сто, а много сотен километров. На войне, чтобы обмануть врага, чтобы нанести ему неожиданный удар, придется совершать марши подлиннее и потяжелее, чем этот. Это цветики, а ягодки будут впереди. Так закалял своих солдат, прозванных чудо-богатырями, прославленный русский полководец Александр Васильевич Суворов. Он оставил нам завет: «Тяжело в учении — легко в бою»!

Я продолжал:

— Второе: вы недовольны, что при наличии кухни вам выдали сырое мясо и заставили усталых варить в котелках суп. Это тоже сделано нарочно. Вы думаете, что в бою кухня будет всегда у вас под боком? Ошибаетесь! В бою кухни будут отрываться, отставать. Выпадут дни, когда вы будете голодать. Все слышите? Будете голодать, будете сидеть без курева — это я вам обещаю. Такова война, такова жизнь солдата. Иной раз сыт по горло, а иной раз в желудке пусто. Терпи, но не теряй воинскую честь! Голову держи вот так! Каждый должен уметь готовить. Какой из тебя солдат, какой из тебя воин, если ты не умеешь сварить себе похлебку? Я знаю, некоторые из вас никогда сами не готовили. Знаю, многие вечером приходили в ресторан и кричали: «Эй, официант, сюда! Кружку пива и бифштекс по-гамбургски!» И вдруг вместо бифштекса — поход на пятьдесят километров, да еще тащи на себе два пуда солдатской поклажи, да еще вари похлебку в котелке! Когда варили, вы возмущались. Верно?

Раздались голоса: «Верно, товарищ комбат! Верно!»

Между мною и бойцами пробежала искорка, заструился ток. Я понимал их, они понимали комбата. Если б вы знали, как мила сердцу эта искорка!

Мы отправились в обратный путь.

К нашему лагерю в Талгар вело прекрасное гравийное шоссе. По такому шоссе легко идти.

Легко? Значит, к черту шоссе, дальше от шоссе! Разве на войне мы будем ходить по гравию?

Я приказал вести людей не по шоссе, а принять на

сто-двести метров в сторону. По пути камни — иди по камням; по пути овраг — пересекай; по пути песок — шагай!

Стоял безветренный день. Нещадно жарило солнце. Воздух казался струящимся. Это бывает: с накаленной, как печка, земли бегут вверх прозрачные струйки.

Я знал: людям трудно. Но знал и другое: так нужно для войны, так нужно для победы.

На склоне, обжигаемом солнцем, встретилось большое табачное поле. Бойцы пошли по тропинке через поле. Табак — казахстанская махорка — высился в рост человека. Ни одно дуновение не колебало широких, пахучих, распаренных солнцем листьев.

Бойцы шли. И вдруг, когда половина поля была пройдена, когда батальон втянулся в табачные заросли, люди начали падать.

Что такое? Валится один, другой, десятый... Я испугался. Нас словно настигла страшная, мгновенно действующая эпидемия. Люди падают без стога и лежат, как мертвые.

Быстро разгрузили повозки, сняли пулеметы, минометы, боеприпасы и кое-как вывезли упавших на бугор, к арыку. Там, далеко от табачных испарений, люди очнулись.

Но батальона уже не было, роты перемешались. Бойцы сидели и лежали, стонали, смачивая головы водой; некоторых рвало.

Я увидел нашего фельдшера, голубоглазого старика Киреева, человека добрейшего сердца. Он хлопотал, раздавая порошки. Ему помогал политрук Бозжанов. Раздобыв ведерко, Бозжанов таскал воду из арыка и ходил с фельдшером, поднося воду лежавшим.

В этой группе никто не встал, когда подошел я — комбат.

— Встать! — скомандовал я.

Лишь некоторые исполнили команду. Охая, поднялся Курбатов.

— Курбатов, ты?

— Ох, я, товарищ комбат...

Неужели это он, которым я гордился, которого показывал бойцам? Э, как его скрутило!

— Чего раскис? Как стоишь перед командиром?

Курбатов сделал усилие, выпрямился, развернул грудь и встал, как положено стоять бойцу.

Я подошел к другому:



*По пути камни — иди по камням; по пути овраг — пересекай; по пути
песок — шагай!*

- Почему не встаешь? Встать! Где винтовка?
- Ох, товарищ комбат... Не знаю, товарищ комбат.
- Как стоишь? Сейчас же явись ко мне с винтовкой!
- Как же я найду? Я и ходить-то...
- Исполнять приказ!
- Сейчас, товарищ комбат... Очки где-то потерял...

А, Мурин! На длинном носу появились запасные очки. Мурин, ковыляя, побрел отыскивать винтовку.

Я приказал командирам выстроить роты на шоссе для продолжения марша.

Через четверть часа выстроились. Я выехал к батальону. Как плохо стоят! Головы понурены, глаза замутнены, многие по-стариковски оперлись на винтовки.

— Батальон, смирно! На плечо! Шагом марш!

Роты двинулись. Но люди еле шли — не в ногу, не ровнясь; некоторые прихрамывали, у иных винтовки, как пьяные, елозили на скатках. Не шли, а тащились. Нет, так мы не дойдем!

Обогнав колонну, я крикнул:

— Стой!

Затем объявил бойцам:

— Отсюда до того дерева вы должны пройти строевым шагом! Пока не промаршируем, до тех пор не сойдем с этого места. Первая рота, ровняйся!

Знаете ли вы, что такое строевой шаг? Парад на Красной площади. Все враз поднимают ноги и с силой ставят их всей ступней — печатают шаг.

До дерева было метров двести.

Пошла первая рота.

Плохо! Отставить! Назад!

Рота вернулась и пошла снова.

Опять плохо! Отставить! Назад!

Я злился, но разозлились и они.

Пошли третий раз. Ну и дали шаг! Так отстукивали, так ударяли ступней, что невольно подумалось: не разобьют ли шоссе?

Еще минуту назад я ненавидел раскисших людей, они злились на меня — и вдруг в душу хлынула любовь...

— Молодцы! Молодцы!

У меня радостно вырвалось это.

— Служим Советскому Союзу! — под левую ногу прокричала рота.

И подошвы тяжелых солдатских ботинок еще крепче и крепче ударяли все враз.

Мужественные, сильные, они шагали, как на Красной площади.

Так я пропустил все роты. Вторую и третью тоже пришлось возвращать, пока не промаршировали строевым шагом двести метров.

Последней проходила пулеметная рота. Бойцы с места взяли ногу. В первой шеренге шагал длинный Мурин. Он изо всей силы ударял ступней; правая рука, словно под музыку, отбивала такт; очки сияли; на лице было написано истинное удовольствие.

7

Близ Талгара к нам на малорослом уральском маштачке подъехал генерал Панфилов. Он встречал возвращающиеся батальоны.

Все подтянулись, увидев генерала; роты по команде опять дали строевой шаг. У усталых, но марширующих в ногу бойцов опять были гордо вскинуты головы: вот каковы мы!

Панфилов улыбнулся. От маленьких глаз по загорелой, словно прожаренной коже побежали мелкие морщинки. Привстав на стременах, он крикнул:

— Хорошо идете! Спасибо, товарищи, за службу!

— Служим Советскому Союзу!

Батальон гаркнул так, что маштачок шарахнулся. Панфилов невольно подхватил повод, покачал головой и засмеялся.

Теперь и я прокричал эти слова вместе с бойцами. Я отвечал не только генералу. Я мог бы любому бойцу, любому командиру, собственной совести, всякому, кто вслух или безмолвно спросил бы меня: «Зачем ты так суров?» — с гордостью ответить точно так же: «Служу Советскому Союзу!»

Мы вернулись в срок.

Я оглядел роты, выстроившиеся вокруг меня четырехугольником. Красноармейцы стояли осунувшиеся, почерневшие, сбросившие лишний жирок, в пропотевших пилютках, в тяжелых запыленных ботинках, с винтовками, взятыми к ноге. Они измучились; у них гудели ноги. Сейчас им хотелось лишь одного — прилечь, но они терпеливо ждали команды; они не наваливались по-стариковски на винтовки и, встречая взгляд командира, расправляли плечи.

Это были уже не те, что впервые выстроились здесь,

в кепках, пиджаках и майках, неделю назад; не те, что в новеньком, неумело пригнанном походном снаряжении выходили на рассвете в первый большой переход, — теперь это были солдаты, с честью выдержавшие первое воинское испытание.

«ПЛОХО, ТОВАРИЩ МОМЫШ-УЛЫ!»

I



отелось бы рассказать еще многое о том, как мы готовили себя к боям, как приезжал в батальон генерал Панфилов, как он беседовал с бойцами, как повторял и им и мне: «Победа куется до боя».

Но... минуем все это.

К нам подошло наконец то, ради чего мы взяли винтовки; ради чего учились ремеслу солдата; ради чего в армии стоят перед командиром «смирно» и, никогда не прекословя, повинуются ему. К нам подошло то, что зовется войной.

Прибыв под Москву, мы заняли рубеж близ Волоколамска. К этой линии тринадцатого октября вышел противник — моторизованная, вышколенная разбойничья армия, прорвавшая далеко на западе наш фронт, совершающая бросок к Москве — последний, как казалось немцам, бросок «молниеносной войны».

В этот же день, тринадцатого, когда разведка впервые донесла, что перед нами немцы, в батальон, как вы знаете, приехал генерал Панфилов.

Выпив два стакана крепкого чая, Панфилов взглянул на часы и сказал:

— Спасибо, товарищ Момыш-Улы. Хватит. Пойдемте на рубеж.

Мы вышли. Неподалеку, на опушке, генерала ждала машина. Задние колеса были туго обмотаны цепями; в стальные звенья набился потемневший спрессованный снег.

Вокруг все было в снегу. Этими днями установилась санная погода. Чуть подмораживало. С неба, заволоченного облаками, исчезло светящееся белесое пятно, за которым среди дня угадывалось солнце; на горизонте проступили крупные желтоватые тона. Но в снежной белизне вечер казался светлым.

Через пять минут мы были в расположении второй роты.

Легко спрыгивая в траншеи, Панфилов залезал под накаты, разглядывал сквозь прорези даль, проверяя сектор обстрела; пробовал, беря винтовку и прикладываясь, удобно ли стрелять; задавал бойцам обыденные вопросы: «Как кормят?», «Хватает ли махорки?» Отвечая, на него смотрели ожидающими глазами.

По окопам пронеслась весть, принесенная разведчиками: перед нами немцы. Панфилов разговаривал, шутил, но взгляды оставались ожидающими — бойцы, казалось, ждали: вот-вот генерал произнесет какое-то особенное слово, которое надо знать в бою, от которого вражья сила станет нестрашна.

Побывав в нескольких окопах, Панфилов молча шел по берегу темной, незамерзшей Рузы. Он смотрел вниз, как всегда, когда задумывался.

К генералу подбежал, поправляя на ходу шапку, из-под которой выглядывали аккуратно подбритые седоватые виски, командир роты Севрюков. За ним, держа дистанцию в три-четыре шага, не отставая и не нагоняя, бежали несколько красноармейцев.

Выслушав рапорт, Панфилов спросил:

— А это что у вас за свита?

— Мои связные, товарищ генерал.

— Так везде и бегают за вами?

— А как же, товарищ генерал, вдруг что-нибудь...

— Хорошо, очень хорошо. И окопы у вас, товарищ Севрюков, построены толково.

Немолодое лицо бывшего главного бухгалтера покраснело от удовольствия.

— Я подумал так, товарищ генерал, — рассудительно заговорил он: — вдруг вы пожелаете собрать роту, побеседовать. А связные тут как тут. Это, товарищ генерал, скороходы. Прикажете, товарищ генерал, и через десять минут рота будет здесь.

Панфилов достал часы, взглянул, подумал.

— Через десять минут? Здесь?

— Да, товарищ генерал.

— Хорошо, очень хорошо... А скажите, товарищ Севрюков, через сколько минут вы могли бы сосредоточить роту там?

Быстро повернувшись, Панфилов указал на другой берег Рузы.

— Там? — переспросил Севрюков.

— Да.

Севрюков посмотрел на указательный палец генерала, затем на точку, куда вела от пальца воображаемая прямая линия. Было еще достаточно светло, чтобы ясно разглядеть: палец показывал лес на противоположном берегу.

Но Севрюков все-таки спросил:

— На ту сторону?

— Да, да, на ту, товарищ Севрюков.

Севрюков посмотрел на черную воду, повернул голову туда, где в полутора километрах находился скрытый за выступом берега мост; достал платок, неловко высморкался и опять усталился на воду.

Панфилов молча ждал.

— Я не знаю... Через брод, товарищ генерал? Там в середине выше пояса. Намочу людей, товарищ генерал!

— Нет, зачем мочить? Не лето... Давайте как-нибудь немоченными будем воевать. Ну, товарищ Севрюков, через сколько же минут?

— Не знаю... Тут будут не минуты, товарищ генерал.

Панфилов обернулся ко мне.

— Плохо, товарищ Момыш-Улы! — отчетливо проговорил он.

Впервые генерал Панфилов сказал мне «плохо». Этого не случалось раньше, этого не бывало и потом, во время боев под Москвой.

— Плохо! — повторил он. — Почему не подготовлены переходные мостики? Почему нет плотов, лодок? Вы зарылись в землю, зарылись грамотно, толково. Теперь вы только ждете, когда вас стукнет немец. Это уже бестолково. А что, если будет выгоден встречный удар? Что, если вам самим предоставится возможность стукнуть? Вы к этому готовы? Противник сейчас обнаглел, самоуверен, этим надо пользоваться. У вас, товарищ Момыш-Улы, это не продумано.

Он говорил сурово, без обычной мягкости, ничем на этот раз не сглаживая резкости. Став «смирно», покраснев, я выслушал выговор.

2

Генерал опять обратился к Севрюкову:

— Значит, товарищ Севрюков, не сумеете быстро там сосредоточиться? Плохо! Поразмыслите об этом. А фланговое перестроение сколько времени у вас займет?

— Фланговое перестроение? Какую занять линию, товарищ генерал?

Панфилов указал на опушку, где был скрыт командный пункт батальона, откуда, перерезав белое поле колесей, уже неразличимой в сумерках, нас доставила сюда машина.

— Вот вам линия, товарищ Севрюков: от леса и до берега. Задача — прикрыть батальон с фланга.

Севрюков подумал.

— Пятнадцать-двадцать минут, товарищ генерал!

Панфилов оживился.

— Не сочиняете ли? Ну-ка, ну-ка... Командуйте, товарищ Севрюков! Засаею время.

Севрюков козырнул, повернулся и не торопясь пошел к связным. С полминуты он молча оглядывал местность. Я кричал ему взглядом: «Чего мнешься? Не будь мямлей! Скорее, скорее!» И вдруг услышал хриловатый шопот:

— Молодец, думает!

Панфилов с улыбкой шепнул мне это. Лицо перестало быть строгим. Он с любопытством следил за Севрюковым.

А Севрюков уже указывал связным ориентиры. Мы услышали:

— Пулеметный взвод прикрывает, потом отходит последним... Муратов, бегом!

Панфилов, не удержавшись, кивнул. Сорокалетний лейтенант, бывший главный бухгалтер табачной фабрики в Алма-Ате, ему явно нравился.

А Муратов, маленький крепыш-татарин, уже мчался по берегу, выбрасывая сапогами комья снега. За ним ринулся еще один, в другую сторону — третий. К лесу побежал высокий Белвицкий, до войны студент педагогического техникума. Он стал маяком на линии, которую наметил генерал. У меня мелькнуло: «Ошибка! Под обстрелом так не постоишь!» Но Севрюков уже яростно махал ему рукой, показывая, чтобы пригнулся. Белвицкий не понимал. Севрюков сам присел, и тот догадался.

А в сгулающихся сумерках показалась наконец первая бегущая к лесу цепочка. Я распознал могучую фигуру Галлиулина, согнувшегося на бегу под телом пулемета, но даже и теперь возвышающегося над другими.

Пулеметный взвод залег...

Минуя его, к опушке неслись стрелки с едва различимыми отсюда черточками взятых наперевес винтовок. Вот они уже падают в снег — на белом поле появляется темный пунктир новой оборонительной линии.

Мне казалось: часы, которые держал, изредка поглядывая на них, Панфилов, будто отстукивают во мне. Каж-

дый удар выбивал: «Хорошо, хорошо, хорошо!» Поймете ли вы меня? Ведь это же был мой батальон, мое творение, куда я вложил все, чем обладал; батальон, о котором, по уставу, мне положено говорить: «я». И вдруг опять подумалось: «А сумеем ли мы так сманеврировать под обстрелом, когда над полем будут пронеситься пули, когда с огнем и грохотом будут рваться снаряды и мины? Что, если тогда кто-нибудь панически крикнет: «Окружают!» и кинется в лес? Что, если от него заразятся и бросятся за ним другие? Нет, нет! Такого на месте уничтожат командиры, такого пристрелят сами бойцы!» А часы — или сердце — отстукивали: «А уверен ли ты? А уверен ли ты?» Стиснув зубы, я отвечал: «Уверен, уверен, уверен!»

Бойцы уже пробегали подле нас и ложились неподалеку, сразу пуская в ход саперные лопатки и насыпая перед собой холмики снега. К Севрюкову вернулись его скороходы.

Над полем, уже подернутым фиолетовыми тонами, опять появился силуэт Галлиулина с телом пулемета на богатырской спине. Пулеметный взвод, прикрывший перестраивающую роту, отходил, занимая место в ряду. Теперь бежал кто-то один, оставший. Севрюков следил за ним взглядом. Дождавшись, когда и этот плюхнулся в снег, Севрюков пошел к Панфилову.

— Товарищ генерал! Согласно вашему приказанию, рота произвела фланговое перестроение. Занята указанная вами линия обороны.

Панфилов, сощурившись, взглядывался в часы.

— Чудесно! — воскликнул он. — Восемнадцать с половиной минут. Отлично, товарищ Севрюков! Отлично, товарищ Момыш-Улы! Теперь не уеду, пока не скажу бойцам «спасибо». Ежели с таким народом мы немцев бить не будем, тогда куда же мы годны? Каких бойцов нам еще надо? Давайте-ка роту сюда, товарищ Севрюков.

Опять понеслись гонцы, и скоро взводными колоннами, бегом рота собралась возле генерала. Севрюков выровнял строй, скомандовал: «Смирно!» и доложил генералу. В сгустившейся темноте лица стали невидны, но контуры строя были резко обозначены.

Панфилов не любил произносить речи, он обычно предпочитал беседовать с сидящими вокруг бойцами, но на этот раз обратился к роте со словом — правда, очень кратким, занявшим всего две-три минуты.

Не удерживая радости, он похвалил бойцов.

— Как старый солдат скажу вам, товарищи, — негромко говорил он: — с такими бойцами генералу ничто не страшно.

Даже не видя лица, по голосу можно было угадать, что он улыбается. Помолчав, он спросил, словно обращаясь к самому себе:

— Что такое боец? Боец всем подчиняется, перед каждым командиром стоит «смирно», исполняет приказания. Это нижний чин, как говорилось раньше. Но что такое приказ без бойца? Это мысль, игра ума, мечта. Самый лучший, самый умный приказ так и останется мечтой, фантазией, если плохо подготовлен боец. Боеготовность армии, товарищи, это прежде всего боеготовность солдата. Боец на войне — решающая сила.

Я чувствовал, с каким вниманием слушают Панфилова, как ждут его слова.

— Когда роты действуют так, как только что действовали вы, так исполняют приказ, то... то пусть трепещут немцы. Спасибо, товарищи, за отличную боевую подготовку! Спасибо за службу!

Над полем гроыхнуло:

— Служим Советскому Союзу!

И стало опять очень тихо.

— Спасибо, товарищ Севрюков, — сказал генерал, пожимая руку командиру роты. — С такими орлами и я орел!

В тишине это услышали все. И опять по голосу можно было угадать, что Панфилов улыбается. А бойцы? Улыбались ли? Ведь бывает же иногда так, что улыбка чувствуется сквозь темноту и сквозь безмолвие; но в том-то и была моя беда, мое мучение, что в этот вечер, после выговора, терзавшего меня, я не ощущал чудесного чувства слитости с бойцами, о котором я вам рассказывал, которое не раз, как награда, как счастье, приходило ко мне. Я не видел лиц. Может быть, люди улыбались, а может быть, все еще томилась, все еще были невеселыми, все еще ожидали от генерала какого-то особенного слова, слова, которое помогает в бою, не осознавая, что слово это уже сказано.

Я не слышал дыхания роты, не видел ее лица. Это тоже, вместе с выговором, было наказанием за какую-то большую ошибку. В чем она?

Я перебирал в уме резкие слова генерала. «Даже и мысли об этом я не вижу», сказал он, указывая стрелой удар по врагу. Мысли! Да, что-то мною недодумано, что-то мною недоделано. И не только в расположении минных по-

лей, в переправочных средствах, но и в душах бойцов. Но что именно? Эх, победа, одна победа в бою — вот что нужно нам!

Я проводил генерала до машины.

— Потщательнее ведите разведку, — говорил он, ступив на подножку. — Посылайте и посылайте людей вперед. Не надо им все время скрючившись сидеть в земле, пусть повидают немцев перед боем.

Он подал на прощание руку и, задержав мою в своей, продолжал:

— Знаете, товарищ Момыш-Улы, чего еще нехватает батальону? Один раз поколотить немцев!

Я вздрогнул. Это было как раз то, чего и я страстно желал.

— Тогда, товарищ Момыш-Улы, это будет не батальон — нет, это будет булат! Вы знаете, что такое булат? Узорчатая сталь, сталь с таким узором, который ничто в мире не сотрет. Вы поняли меня?

— Да, аксакал.

Я сам не знаю, как вырвалось у меня это слово. Я называл Панфилова так, как Бозжанов называл меня, как мы, казахи, обращаемся к старшему в роде, к отцу.

Я ощутил его рукопожатие.

— Не ждите, а ищите случая. И как подвернется — бейте! Рассчитайте и бейте! Обдумайте это, товарищ Момыш-Улы.

И он снова спросил, подавшись ко мне, желая яснее видеть меня в полумраке:

— Вы поняли меня?

— Да, товарищ генерал.

Панфилов двумя руками, по-казахски, пожал мою руку. Это была ласка.

За ним захлопнулась дверца. С горевшими в полусвете фарами машина двинулась по снежному полю. А я стоял и стоял, глядя вслед генералу.

3

Ночью мы составили график.

Со свойственной ему деловитостью Рахимов вычертил табличку.

На рассвете три отделения — по одному от каждой стрелковой роты — разными дорогами отправились в разведку. Затем через каждые два часа, по графику, отде-

ние за отделением уходило за реку, вперед, туда, откуда надвигались немцы. Бойцам ставилась задача: поглядеть. Пока больше ничего. Поглядеть, увидеть живого немца и вернуться.

Осторожно, держась опушек, порой страшась выйти в чистое поле, на корточках подползая к деревьям, тихо окликающая колхозников, бойцы разузнавали, где немцы, сколько их. И, распростав, подкрадывались, чтобы поглядеть на немца.

Бойцы шли вперед. Вперед! Как много значит для души солдата, как окрыляет это слово! Из-за кустов, из-за плетня, из ямы, со жнивья, с огородов они высматривали: каковы они собой, враги, идущие нас убить?

И отделение за отделением возвращалось. Красноармейцы наперебой рассказывали, как немцы ходили по селу, умывались, ели, стреляли кур, смеялись, о чем-то лопотали по-немецки.

Рахимов опрашивал командиров отделений, выяснял численность и вооружение противника, его передвижения и все тщательно записывал. А я, слушая те же донесения, всматривался в лица, ловил пульс батальона. Многие возвращались оживленными, но у некоторых во взгляде все еще стояла грусть — этих не покинул страх.

Одно отделение, во главе с Курбатовым, пришло особенно веселым.

Лихо козырнув и щелкнув каблуками, глядя на меня смеющимися серыми глазами, Курбатов сказал:

— Разрешите доложить, товарищ комбат: ваш приказ не выполнен.

— Как так?

— Вы приказали не стрелять, а у меня сорвалась рука. Я два раза выстрелил... и боец Гаркуша тоже.

— И что?

— Двоих уложили, товарищ комбат. Взяло за живое, они кабанчика у женщины отнимали. Она вцепилась в одного, лежит на земле, кричит. Он ее 'сапогом в лицо. Не выдержало сердце, приложился... и боец Гаркуша тоже. Так они у нас и ткнулись...

Гаркуша — тот, что когда-то на первом марше помучился с гранатной сумкой, — вставил словечко:

— А у меня, товарищ комбат, была еще причина.

— Какая?

Гаркуша посмотрел на товарищей, подмигнул:

— Наш брат глазам не верит, дай пощупать.

— Ну как? Пощупал? Берет их пуля?

— Это, товарищ комбат, мало! Мне охота пощупать по-другому.

И Гаркуша отмочил такое, чего не пишут на бумаге.

Кругом расхохотались. Я с удовольствием прислушивался.

В тот день смех — приятнейший и капризный гость — не раз жаловал к нам. Но не задерживался. Казалось, он на минутку присаживался и улетал, и опять являлся, словно раздумывая, обосноваться ли тут.

Ко мне подошли пулеметчики: степенный Блоха, Галлиулин, Мурин.

— Товарищ комбат, разрешите обратиться, — сказал Блоха.

Я разрешил. Блоха локтем подтолкнул Галлиулина. Мурин пихнул его сзади. Высоченный казах с черным блестящим лицом робко сказал:

— Товарищ комбат...

— Что тебе?

— Товарищ комбат, вы на нас сердитесь?

— Не сержусь.

— А почему, товарищ комбат, все ходят глядеть немца, а пулеметчики не ходят? Все видали, а мы нет. Боец Гаркуша стрелял немца, а мы нет.

— Куда же я пошлю вас с пулеметом? Пулеметы здесь нужны.

— А мы немножко, товарищ комбат, совсем немножко... И сразу прибежим.

Мурин не вытерпел:

— Товарищ комбат, мы за ночь обернемся. Мы и ночью поглядим. Подождем что-нибудь, они и выскочат. И разрешите, товарищ комбат, стрельнуть хоть по одной обойме.

Да, в батальон сегодня пришло что-то новое.

Мурин был интересным человеком. Я несколько раз замечал, что он первый раскисал, когда раскисал батальон, и первый оживлялся, когда у всех крепчал дух. На нем, казалось, всегда оттискивался боевой чекан батальона, чекан, который то расплывался, то резко вырисовывался. Я знал: этот чекан еще не был узором булата, узором, который ничто в мире не сотрет.

О булате, как вы знаете, мне сказал Панфилов. Чем глубже я вдумывался в указания, которые он нам оставил,

чем пристальнее всматривался в бойцов, вслушивался в донесения разведки, в слова и в интонации, тем яснее мне вырисовывалась одна идея.

И я сказал пулеметчикам:

— Хорошо, Галлиулин. Не останешься в обиде: завтра вам будет работа.

ПОПРОБУЙТЕ, СРАЗИТЕСЬ С НАМИ!

1



дея была такова.

Километрах в двадцати впереди нас лежало большое село Середя, то самое, в котором тринадцатого октября начальник штаба Рахимов с конным взводом обнаружил немцев. От этого села лучами расходилось несколько столбовых дорог — на Волоколамск, Калинин и Можайск.

Сопоставляя донесения и рассказы бойцов и командиров, возвращавшихся из разведки, опрашивая уходящих от немца жителей, мы установили, что в Середя противник устроил своего рода перевалочный пункт. Там расположились склады продовольствия, боеприпасов и горючего, там по пути следования ночевали немецкие части, направлявшиеся затем на север — к Калинин и на юг — по дороге, ведущей в Можайск, охватывая с двух сторон нашу оборону.

Возникла мысль: не ударить ли по этому пункту самим, не ожидая удара немцев? Не совершить ли ночной налет на Середя?

Но Панфилов говорил: «Рассчитайте! Рассчитайте и бейте!»

Я отправил на рекогносцировку Рахимова во главе командирской разведки. Тридцатидвухлетний казах Рахимов был спортсменом и путешественником по призванию. Кажется, я уже говорил, что в Казахстане он приобрел некоторую известность как альпинист. Он ходил быстро и вместе с тем неторопливо. Кроме хладнокровия и редкой тщательности в исполнении приказаний, он обладал еще одним незаменимым на войне свойством: даром ориентировки. Даже в темноте он, казалось, видел, как кошка.

С нетерпением я ожидал возвращения Рахимова. Отпра-

вившись под вечер четырнадцатого октября, он отсутствовал всю ночь и все утро.

Наконец к полудню он прибыл. Да, всё подтвердилось: в Серede действительно перевалочный пункт. Охрана несерьезна. Повидимому, немцы совершенно уверены, что на них не осмелятся напасть.

Я принял решение: напасть этой же ночью.

К вечеру был сформирован отряд в сто человек — по одному, по два бойца от каждого отделения. Отбирались лучшие, самые смелые, самые выносливые, самые честные. Участие в налете считалось наградой бойцу.

Задача была формулирована так: в глухой час ночи ворваться с трех сторон в Середу, переколоть и перестрелять немцев, поджечь склады, захватить пленных и заминировать, если хватит времени, дороги, ведущие в Середу и из Середы. Удерживать село не требовалось, к утру следовало вернуться в расположение батальона.

Командир полка дал санкцию, но не разрешил мне отправляться с отрядом. Командиром отряда я назначил Рахимова, политруком — Бозжанова.

Вечером, когда стемнело, сто бойцов выстроились на опушке близ штабного блиндажа. Над волнистой линией шапок выпирала голова Галлиулина, рядом угадывался коренастый Блоха. Я исполнил обещание: пулеметчики тоже шли в ночной рейд с пулеметами в двуколках.

Я опять не видел лиц, но в темноте пробежали токи. Меня била нервная дрожь, и, не прикасаясь к бойцам, я все-таки знал: такая же лихорадка прохватывает сейчас и их. Это была дрожь не страха, а азарта; это был подъем перед боем. В голове всплыла древняя казахская пословица, которую мне недавно напомнил Бозжанов. Я повторил ее отряду:

— Враг страшен до тех пор, пока не изведешь вкуса его крови... Идите, товарищи, испробуйте, из чего сделан немец. Потечет ли из него кровь от вашей пули? Завопит ли он, когда в него всадишь штык? Будет ли он, издыхая, грызть зубами землю? Пусть погрызет, накормите его нашей землей! Генерал Панфилов назвал вас орлами. Идите, орлы!

Рахимов повел бойцов. Я смотрел, как колонна скрылась в полумгле. Ко мне подошел Краев.

— Почему вы меня не пустили, товарищ старший лейтенант? — буркнул он.

— Самого не пустили, Краев.

В этот вечер мы оба завидовали бойцам.

Началась ночь с пятнадцатого на шестнадцатое — ночь нашего первого боя.

2

Я не мог заснуть этой ночью. Не мог и усидеть в блиндаже. Выходил на опушку, шагал по тропинке и без тропки, посматривал на запад, куда ушли бойцы, и прислушивался, словно оттуда, за двадцать километров, мог дойти звук выстрела или крик.

Днем с юга к нам доносилась глухая канонада. Мы еще не знали, что в этот день немцы рванулись танковыми колоннами к Москве, в обход левого фланга дивизии, что там, у совхоза Булычево (запишите это название: когда-нибудь оно золотыми буквами на мраморе засверкает в будущем клубе-дворце нашей дивизии), панфиловцы уже вступили в бой.

Ночью и там все стихло.

У темнеющей в снегу, натоптанной дорожки, ведущей к штабному блиндажу, стоял часовой. Он поглядывал туда же, куда смотрел и я. Весь батальон знал: сто орлов ушли в бой. Весь батальон ждал: каков же он будет, первый бой с немцем?

Я то и дело вынимал часы. Светящиеся стрелки показывали: три, половина четвертого, четыре... Глаз попрежнему встречал повсюду лишь тьму; настроженное ухо попрежнему ловило лишь безмолвие.

Вдруг в небе что-то мелькнуло. Нет, почудилось... И снова возникла чуть заметная мутная полоска. Что это? Светает? Но разве оттуда восходит солнце? Померещилось... В небе опять все темно. И опять мигнул отсвет. И погас. И снова явился... Теперь он мерцал, то разливаясь, то будто сжимаясь, но не уходил. В нем проступил розоватый тон... Я смотрел, смотрел, как зачарованный. Словно раздаваемое чьим-то могучим дыханием, по ночному небу растекалось живое пульсирующее зарево.

Часовой выдохнул:

— Жгут их наши! Бьют их наши!

Я хотел что-то ответить и не смог. Горло было перехвачено радостью; вместе с заревом она пульсировала во мне, и казалось, кровь разносила ее во все уголки тела. В те минуты я впервые познал жгучую радость удара по врагу.

Отряд вернулся утром.

Впереди мчалась тройка, запряженная в широкие ковровые сани. Этих коней я не видал в полку, их отбили в Середи у немцев. К саням толстыми веревками были привязаны два мотоцикла с колясками, с укрепленными впереди пулеметами. Это тоже были трофеи. На мотоциклетных седлах, на багажниках, в прицепных колясках сидели мои красноармейцы.

За первой тройкой неслись другие запряжки. Бойцы ушли пешком, теперь они ехали на санях.

Из окопов, близких и дальних, сбегались бойцы. Радостно встречая своих, они с удивлением и любопытством оглядывали жалкую фигуру пленного немца, которого вместе с прочими трофеями захватил отряд. В зеленоватом мундирчике, в зеленоватой пилотке, он сидел, озираясь исподлобья, медленно поворачивая жилистую, с большим кадыком шею.

Бозжанов жестом велел пленному подняться на сиденье.

— Можно с ним поговорить, — сказал Бозжанов. — Он по-русски немного понимает. Как фамилия?

Пленный что-то пробормотал.

— Громче! — прикрикнул Бозжанов.

У немца руки дернулись вниз, по швам, и, стоя навтыжку перед ~~к~~ шахом, он отчетливо назвал фамилию. Все разглядывали живого говорящего немца.

— Женат?

— Ни... Кавалер...

Бозжанов от души расхохотался. Добродушное полное лицо, расплывшись, стало еще шире, маленькие глазки исчезли. Все хохотали вместе с политруком: «Кавалер! Вот так кавалер!» А немец озирался. Кто-то крикнул:

— Тише!.. Слушайте, что скажет политрук.

Бозжанов поднял руку. Все умолкли.

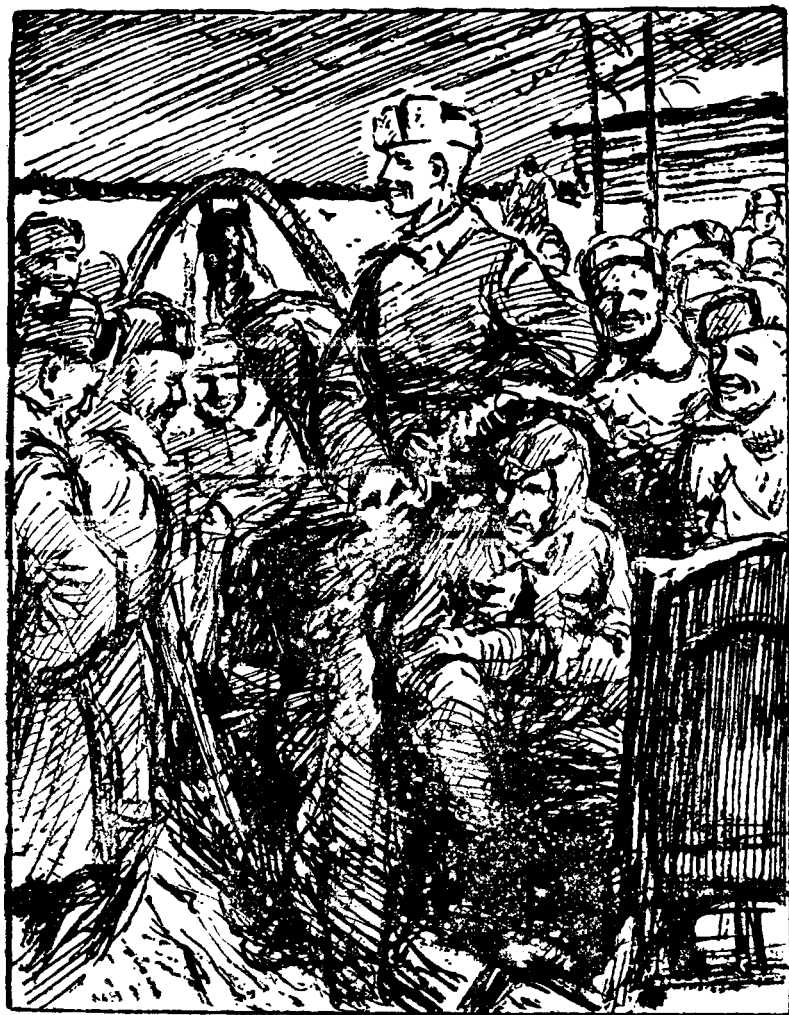
— Политрук скажет: смейтесь! — произнес он.

И, вероятно, неожиданно для самого себя, бросил фразу, которую потом часто повторяли в батальоне:

— Смех — это самое серьезное на фронте.

Стараясь говорить медленно и очень внятно, Бозжанов стал расспрашивать о планах немецкого командования. Пленный не сразу понял. Уловив наконец смысл вопроса, он сказал, коверкая русские названия:

— Завтракать — Волькоколямск, ужинать — Москау.



Радостно встречая своих, бойцы с удивлением и любопытством оглядывали жалкую фигуру пленного немца.

Он произнес это серьезно, держа руки по швам, очевидно даже здесь, в плену, не сомневаясь, что так оно и выйдет; «Завтракать — Волькоколямск, ужинать — Москау».

И снова грянул хохот.

Подергивая шеей, пленный косился по сторонам. Он не понимал, что стряслось с этими русскими. Мы и сами, наверное, не понимали, почему так заливаемся.

Так был выигран первый бой.

4

Рахимов и Бозжанов доложили мне подробности налета.

Конечно, можете не сомневаться: в бою не все вышло так, как замышлялось.

Одна группа, случайно столкнувшись с патрульными, начала раньше, чем село было полностью окружено. Бойцы врывались в дома, кололи и стреляли, но у немцев оставались некоторые неперезанные нами выходы, многим удалось бежать. Они сумели опомниться и развернуть оборону раньше, чем мы предполагали.

Отряд перебил сотни две гитлеровцев, заминировал дороги, поджег много автомашин и несколько складов, в том числе хранилище бензина; однако кое-что на одном краю села немцам удалось отстоять.

Но главное было достигнуто: бойцы видели бегущих перед нами немцев; бойцы слушали, как они вопили, издыхая, бойцы испробовали их шкуру пульей и штыком.

С Рахимовым и Бозжановым я шел по рубежу. Бойцы, участники налета, уже разбежались по отделениям и взводам. По моему приказанию, занятия и работы были на два часа прекращены. Всюду виднелись группы, собравшиеся вокруг героев, поколотивших немцев.

То там, то здесь слышался смех. Этот день, шестнадцатого октября 1941 года, в нашем батальоне был днем смеха. Впоследствии я не раз вспоминал слова Бозжанова: «Смех — это самое серьезное на фронте». Когда на поле боя, на передний край приходит Смех, страх улепetyвает оттуда.

Меня встречали командой: «Встать! Смирно!» По одному этому выкрику можно часто ощутить душу солдата. Как весело он звучал в тот день!

Подойдя к одной группе, где центром был Гаркуша,

я заметил: один боец что-то прячет за спиной. Гаркуша поймал мой взгляд.

— Дай сюда! — повелительно сказал он.

Боец подал немецкую фляжку.

— С ромом, товарищ комбат! — объявил Гаркуша. — Хоть немецкий, а ничего, берет... Сейчас провожу занятия и угощаю: пусть на факте убеждаются. Отведайте, товарищ комбат.

Он протянул фляжку. Я отхлебнул.

— Гаркуша хорошо дрался, — скупно сказал Рахимов.

— Ежели бы мне, товарищ комбат, — хвастливо продолжал Гаркуша, — с каждого, кого я уничтожил, снимать такую, я бы два десятка их принес. Куда там, не донес бы! Там не до того. Влетел я в хату, он лежит там. Раз его на штык, он и «а» не успел сказать! И дальше... Один без штанов по улице... Я приложился — хлоп!

Гаркуша все рассказывал и рассказывал...

Мы пошли дальше по линии окопов. Повстречался Мурин, который в составе пулеметного расчета тоже участвовал в налете. Он куда-то торопился, но издали принял бравый вид и за добрый десяток метров дал строевой шаг. Здесь был передний край; здесь ничто, кроме полосы, которая на фронте зовется «ничьей», не отделяло нас от немцев, а Мурин впечатывал ногу, проходя мимо комбата. Я откозырнул. Глядя на меня, Мурин вдруг улыбнулся. И в ответ я улыбнулся ему. И всё. Мы не остановились, не сказали ни единого слова, но душу опять, как ночью, залила радость. Я любил его и чувствовал — он любит меня. Это опять были чудесные минуты счастья — особаго счастья командира, когда ощущаешь себя слитым воедино с батальоном. Я знал мозгом и сердцем: в батальоне сегодня родилось бесстрашие.

Вокруг все, казалось, было прежним. За черной, незамерзшей рекой белела даль. Сквозь ранний снег кое-где проглядывали незаметные краешки вспаханной земли. Темнели клины леса. Я попрежнему знал: вот-вот все загрохочет; по снегу, оставляя черные следы, поползут танки; из лесу выбегут, припадая к земле и вновь вскакивая, люди в зеленоватых шинелях, с автоматами, идущие нас убить. Но внутри звучало: «Попробуйте, сразитесь с нами!» И во взглядах, в улыбках, в словах, в не покидавшем нас смехе звенело, казалось, все то же: «Попробуйте, сразитесь с нами!»

Так звучал в тот день наш батальон.

БОЙ У СЕЛА НОВЛЯНСКОГО

1



Через несколько дней утром, лишь стало светло, над нами появился немецкий самолет-корректировщик. У него скошенные назад крылья, как у комара; бойцы дали ему прозвище «горбач».

Потом мы привыкли к «горбачам», научились сбивать, научили почтению — «держись дальше, комар!» — но в то утро видели «горбача» впервые.

Он безнаказанно кружил под облаками, по-осеннему низкими, затянувшими небо, порой задевая серую кромку, порой с затихшим мотором планируя по нисходящей спирали, чтобы высмотреть нас с меньшей высоты.

В батальоне в те дни не было противовоздушных средств. Мы тогда еще не знали, что самолеты можно сшибать и из винтовок, — эта не очень хитрая тайна, как и много других, нам открылась потом. Счетверенная установка зенитных пулеметов, приданная батальону, была, по приказу генерала Панфилова, переброшена на левый фланг дивизии, где немцы наносили удар танками, одновременно введя в бой авиацию. Там сражалась наша противотанковая артиллерия; туда генерал Панфилов взял еще одну роту нашего полка, приказав затянуть оставшимися силами оголенный участок. Оттуда, с направления главного удара, к нам докатывалась орудийная пальба.

Мы несколько дней на слух следили за перемещением линии боя. Уханье не приближалось. Напротив, оно временно будто удалялось, но удалялось в глубь нашего фронта, все круче заходя нам за спину.

Я знал обстановку. Слева от батальона, в двадцати — двадцати пяти километрах по фронту, немцы вырвались двумя-тремя дивизиями, в том числе и танковой, на мощную дорогу Можайск — Волоколамск, на так называемую рокаду, пролегающую за нашими плечами.

Нам было приказано: держать рубеж, заслоня войска, сражающиеся на рокаде, от удара во фланг и в тыл.

Вам известны наши силы — один батальон на восемь километров фронта. Рубеж еще не был тронут боем; из окопов не прогремел еще ни один боевой выстрел.

И вот утром, лишь стало светло, над нами появился немецкий самолет-корректировщик.

Я с опушки наблюдал за ним. Помню момент: «горбач» взмыл, скрылся на миг за хмарью, вынырнул — и вдруг все кругом загрохотало.

На поле вздыбились, сверкнув пламенем, земляные столбы. Еще не распались первые, еще глаз следил за медленно падающими рваными кусками, вывороченными из мерзлой земли, как рядом вставали новые выбросы. Снаряды ложились густо. По звуку полета, по характеру взрывов я определил: противник ведет сосредоточенный огонь из орудий разных калибров, вплоть до стадвадцатимиллиметровых; одновременно бьют минометы. Вынул часы. Было две минуты десятого.

Придя в штабной блиндаж, скрытый в лесу, выслушав донесения из рот, я доложил командиру полка по телефону: в девять ноль-ноль противник начал интенсивную артиллерийскую обработку переднего края по всему фронту батальона. В ответ мне сообщили, что такому же обстрелу подвергнут и соседний батальон.

2

Было ясно: это артиллерийская подготовка атаки.

В такие минуты у всех натянуты нервы. Ухо ловит непрерывные удары, которые гулко доносит земля; тело чувствует, как в блиндаже вздрагивают бревна; сверху, сквозь тяжелый накат, при близких взрывах сыплются, стуча по полу, по столу, мерзлые комочки. Но самый напряженный момент — тишина. Все молчат, все ждут новых ударов. Их нет. Значит?.. Но опять — трах, трах, трах!.. И снова бухает, рвется, снова вздрагивают бревна, снова ждешь самого грозного — тишины.

Немцы — фокусники. В этот день, играя на наших нервах, они несколько раз прерывали на две-три минуты пальбу — и опять и опять гвоздили. Становилось невмоготу. Скорей бы атака!

Но прошло полчаса, час и еще час, а бомбардировка продолжалась. Я, недавний артиллерист, не предполагал, что сосредоточенный огонь, предшествующий атаке, может длиться столько часов. Немцы выбрасывали вагоны снарядов, кроша землю, рассчитывая наверняка разметать рубеж, измолотить, измочалить нас, чтобы затем рывком пехоты легко довершить дело.

Время от времени я разговаривал по телефону с коман-

дирами рот. Но ни на одном участке не удавалось обнаружить скопления немецкой пехоты.

Часто рвалась связь — осколки то и дело перерубали провод.

Среди дня, когда где-то — в который раз! — пересекло провод, вслед за выскользнувшим из блиндажа дежурным связи вышел и я взглянуть, что творится на свете.

Снаряды залетали в лес. Что-то трахнуло в верхушках; ломаясь, затрещало дерево; посыпались сучья. Захотелось обратно под землю. Но, прикрикнув на себя, я вышел на опушку.

Над нами попрежнему кружил «горбач». В заснеженном поле, изрытом воронками, затянутом пылью взрывов, кое-где густо-темной, попрежнему в разных точках взлетала земля.

Поглядывая в поле из-за большого дерева, я следил за попаданиями немцев. Попадания были.

Тяжелый удар вместе с черными кусками и пылью вскинул длинные бревна, до того скрытые под горбиком земли. В этот момент, конечно, торжествовал жужжащий над нами немецкий пилот-корректировщик.

Но злорадно улыбался и я. Удавалась довольно обыкновенная военная хитрость.

Мы оборудовали ложную позицию в ста—ста пятидесяти метрах позади истинного переднего края. Грибообразные, укрытые насыпью, зацесенные первой порошей, по которой мы специально натаптывали тропинки, лжеблиндажи протянулись достаточно заметной линией вдоль реки.

А настоящие, где затаились бойцы, были, как я уже говорил, выкопаны ближе к реке, в крутых скатах, накрыты тремя-четырьмя рядами бревен, засыпаны метровым слоем земли без наростов, то есть вгладь с берегом.

Ведя не только прицельный огонь, но и по площади, немцы молотили и берег. Однако для поражения следовало попасть не в тяжелые верхние накрытия — они выдерживали все удары, — а в лоб, в сравнительно слабый лобовой накат. Наша же оборона была, по необходимости, настолько разреженной, что батальон нес лишь случайные, единичные потери.

3

Около четырех часов дня противник резко усилил огонь на участке второй роты, в районе села Новлянского, где пролегал столбовая дорога Серета — Волоколамск.

Сразу уловив это на слух, я позвонил командиру второй роты Севрюкову.

— Его нет.

Я узнал голос одного из связных, маленького татарина Муратова.

— Где он?

— Пополз на наблюдательный пункт.

— А ты почему не с ним?

— Он один, чтобы посекретнее.

Муратов говорил весело. В такие минуты особенно чутко воспринимаешь оттенки тона у солдат; читаешь это, как боевое донесение.

Меня вызвали к другому телефону. Говорил Севрюков

— Товарищ комбат?

— Да. Где вы? Откуда говорите?

— Лежу на артиллерийском наблюдательном. Гляжу в артиллерийский бинокль. Очень интересно, товарищ комбат.

Его и сейчас, под огнем, не оставила всегдашняя неторопливость. Я подгонял его вопросами:

— Что интересно? Что видите?

— Немцы скопились на опушке. Кишат, товарищ комбат, шевелятся... Вот офицер вышел, тоже в бинокль смотрит.

— Сколько их?

— Пожалуй, чтобы не соврать, батальон будет. Я думаю, товарищ комбат, надо бы их...

— Чего думать? Дайте к телефону Кухаренко! Быстро!

— Я, товарищ комбат, это самое и думал.

Меня часто раздражала медлительная манера Севрюкова. И все-таки я не пожелал бы другого командира роты взамен сорокалетнего рассудительного Севрюкова, который в тот день не один раз прополз по страшному полю, побывал в окопах и у наблюдателей.

Трубку взял лейтенант Кухаренко — артиллерист-корректировщик. Восемь пушек, приданные батальону, спрятанные в лесу в земляных укрытиях, весь день молчали, не обнаруживая себя до решающей минуты. Она приближалась.

Опушка, где немцы скопились для атаки, была, как и вся полоса перед фронтом батальона, заранее пристреляна. Хотелось скомандовать: «По скоплению противника всеми орудиями огонь!» Но сначала следовало выпустить несколько поверочных снарядов, чтобы, наблюдая падения, подправить наводку, «довернуть», как говорят артиллеристы, соответственно направлению и силе ветра, атмосферному

давлению, осадке под орудиями и множеству других переменных величин.

Для этого требовался кусочек времени — всего несколько минут.

Но знаете ли вы, что такое время? Знаете ли вы загадку: «Что на свете самое долгое и самое короткое, самое быстрое и самое медленное, чем больше всего пренебрегают и о чем больше всего сожалеют?»

Время.

Знаете ли вы, что может случиться на войне в несколько минут?

4

Отдав приказание, я не опустил трубки, включенной в артиллерийскую сеть. Слышу — на огневые позиции идет команда:

— По местам! Зарядить и доложить!

Затем Кухаренко — живое око скрытых в лесу пушек — указывает координаты. Чей-то голос повторяет. Теперь медленно поворачиваются орудийные стволы. А время идет, время идет...

Наконец слышится:

— Готово!

И следом команда:

— Два снаряда, беглый огонь!

Среди непрерывных ударов, которые тупо бьют в уши, не различишь напих выстрелов, но снаряды выпущены, снаряды летят — пока только пристрелочные, пока только два. Наблюдатель сейчас увидит разрывы. Далеко ли от цели? А может быть, сразу в точку? Ведь бывает же, бывает же так!

Нет! Кухаренко корректирует:

— Прицел больше один. Правее ноль...

И вдруг сильный треск в мембране. И фраза перерублена.

— Кухаренко!

Ответа нет.

— Кухаренко!

Безмолвие... «Правее ноль...» — ноль девять? Ноль три? Или, может быть, ноль-ноль три?..

У нас много снарядов, у нас восемь пушек, но в этот миг, когда они нужнее всего, проклятая случайность боя сделала их незрячими.

Это не был, однако, обрыв связи. Несчастье оказалось тяжелее.

Меня позвали к другому телефону. С командного пункта второй роты опять говорил Муратов — маленький татарин, который весело отвечал несколько минут назад. Теперь голос был растерянным:

— Товарищ комбат, командир роты ранен.

— Куда? Тяжело?

— Не знаю, еще не принесли... Там и другие. Не знаю, убиты или ранены...

— Где — там?

— На наблюдательном... Отсюда все пошли — выносить командира и других. А меня оставили. Велели вам звонить.

— Что же там произошло... на наблюдательном?

Я с усилием выговорил это, уже зная, что обрушилась страшная беда.

— Разбит...

Я молчал.

Вот-вот грохот сменится жуткой тишиной, вот-вот немецкая пехота, сосредоточенная для атаки, пойдет через реку, а наблюдательный пункт разбит, пушки ослепли, и в роте нет командира...

Я сказал:

— Собери, Муратов, связных. Пусть передадут во взводы: «Лейтенант Севрюков ранен, на ротном командном пункте вместо него комбат». Сейчас буду у вас.

— Положив трубку, я приказал начальнику штаба Рахимову:

— Немедленно свяжитесь с Краевым. Пусть явится принять от меня вторую роту.

Затем крикнул ординарцу:

— Синченко! Коня!

5

Мы вскачь понеслись через поле.

У коня по-кошачьи поднялись тонкие, просвечивающие уши; я его гнал напрямик, натянув повод, не давая шаркаться от взрывов.

В мыслях билось одно: «Еще! Еще! Пусть еще несколько минут длится это завывание, пронзительный свист и грохот. Только бы не тишина! Только бы успеть!»

Навстречу из Новлянского вылетела военная тачанка. Повозочный нахлестывал могучих артиллерийских лошадей. По бедру у одной стекала темной полосой кровь.

— Стой!

Повозочный не сразу сдержал упряжку.

— Стой!

На заднем сиденье я увидел Кухаренко. В очень бледное лицо крапинками впиалась земля. Наискось через лоб шла свежая вспухшая царапина с каемкой присохшей крови. На измазанной глиной шинели висел артиллерийский бинокль.

— Кухаренко, куда?

— На... на... — словно заика, он не мог выговорить сразу. — На огневую, товарищ старший лейтенант.

— Зачем?

— Наблюдательный пункт...

— Знаю! Я тебя спрашиваю: зачем? Бежишь? Назад!

— Товарищ комбат, я..:

— Назад!

Кухаренко посмотрел на меня словно неживыми глазами, в которых застыл ужас пережитого. И вдруг будто кто-то изнутри подменил зрачок. Вскочив, Кухаренко заорал громче меня:

— Назад! — и выругался в белый свет.

За мной, не разбирая дороги, подбрасывая по выбоинам тачанку, тяжело скакала пара артиллерийских коней.

Церковь, увенчанная колокольной, служила перевязочным пунктом. Снаружи, за стеной, укрывающей от обстрела, расположилась батальонная кухня. Я увидел Пономарева, командира хозяйственного взвода. Он вытянулся, заметив меня.

— Пономарев, связь действует?

— Действует, товарищ комбат.

— Где телефон?

— Телефон тут, товарищ комбат, в сторожке.

Наглаз от проема колокольни до сторожки было метров сто пятьдесят.

— Провод есть?

Уловив утвердительный кивок и не дожидаясь ответа, я приказал:

— Сейчас же телефон на колокольню! Бегом! Секунда дорога, Пономарев!

По каменным ступеням паперти я вбежал в церковь. Там, на соломе, застланной плащ-палатками, лежали раненные.

— Товарищ комбат...

Меня негромко звал Севрюков. Быстро подойдя, я взял обеими руками его странно тяжелые, пожелтевшие кисти.

— Прости, Севрюков, не могу сейчас...

Но он не отпускал моих рук. Пожилое лицо, с сединой у аккуратных висков, с явственно обозначившейся короткой щетинкой, осунулось, обескровело.

— Кто, товарищ комбат, вместо меня?

— Я, Севрюков. Прости, не могу больше...

Наверх пробежал телефонист с аппаратом. За ним вилась тонкая змейка провода. Я стиснул и выпустил тяжелые руки.

По витой лестнице я поднялся на колокольню. Кухаренко был уже там. Присев, он из-за каменных перил наблюдал в бинокль. Телефонист прикреплял провод к аппарату.

— Сколько правее? — спросил я.

Кухаренко взглянул удивленно, потом понял.

— Ноль пять, — сказал он.

Я повернулся к телефонисту.

— Скоро ты?

— В момент, товарищ комбат.

Кухаренко протянул мне бинокль. Поправив его по глазам, поймав резко придвинувшуюся, сразу посветлевшую зубчатую линию леса, я повел стекла ниже и вдруг ясно, словно в полусотне шагов, увидел немцев. Они стояли. Стояли «вольно», но уже выстроенные. Можно было различить боевые порядки. Группы — вероятно, взводы, — разделенные небольшими промежутками, были расположены так: впереди одно отделение, позади — крыльями — два. У офицеров, тоже надевших каски, уже отстегнуты кобуры парабеллумов, которые немцы, я впервые тогда это увидел, носят с левой стороны на животе. Так вот они, те, что подошли к Москве, — профессионалы-победители! Сейчас они пойдут через реку.

— Готово! — сказал телефонист. — Связь, товарищ комбат, есть.

— Вызывай огневую...

И вот наконец восстановлена разорванная фраза:

— Прицел больше один. Правее ноль пять. Два снаряда, беглый огонь!

Я отдал бинокль Кухаренко.

Уже не различая немцев, я невооруженным глазом

вглядывался в опушку, напряженно ожидая разрывов. В деревьях блеснуло, потом рядом встали два дымка. Я не смел верить, но показалось — цель поражена.

— В точку! — сказал Кухаренко, опуская бинокль; лицо его сияло. — Теперь мы...

Не дослушав, схватив трубку, я скомандовал:

— Из всех орудий по восьми снарядов, осколочными, беглый огонь!

Кухаренко с готовностью, с гордостью протянул мне бинокль. Он был счастлив и горд в эту минуту: немцы накрыты с одного доворота. Это сделал он, лейтенант Кухаренко, исполнивший воинский долг и блеснувший — смотрите, смотрите в бинокль, товарищ комбат! — блеснувший профессиональным мастерством корректировщика-артиллериста.

Я смотрел. Пристрелочные снаряды, видимо, кого-то ранили: в одном месте, спиной к нам, несколько немцев над кем-то склонились, но ряды стояли.

Ну, молитесь вашему богу! В гуле и грохоте, которые ухо перестало замечать, мы услышали: заговорили наши пушки. Подавшись вперед через перила колокольни, я видел в бинокль: на краю леса, где сосредоточились немцы, сверкало пламя, вздымалась земля, валились деревья, взлетали автоматы и каски.

Меня с силой отдернул Кухаренко.

— Ложитесь! — прокричал он.

Нас обнаружили. С оглушающим отвратительным гулом близ колокольни пронесся «горбач». Он бил из пулемета. Несколько пуль стукнуло по белому четырехугольному столбу, разбрызгивая штукатурку и оставляя слепые дыры, черные, как пустые глазницы.

Самолет пронесся так близко, что я различил обращенное к нам злобное лицо. Мгновение мы смотрели друг другу в глаза. Я знал, надо падать, но не мог заставить себя, не захотел лечь перед немцем. Не лягу, не склонюсь перед тобой! Выхватив пистолет, я выпустил обойму.

Самолет ушел по прямой. По колокольне стали бить из орудий. Один снаряд угодил ниже нас, в надежную каменную кладку. Все заволокло мелкой кирпичной пылью, заскрипевшей на зубах.

Но в горячке боя казалось — снаряды врага ненастоящие, кинематографические; они рвутся, будто на экране,

рядом, но в ином мире, не то что наши. Наши разят, кромсают тела.

Опять пролетел «горбач». Опять чокали пули. Я укрылся за каменный стояк. Телефонист застонал.

— Куда тебя? Дойдешь вниз?

— Дойду, товарищ комбат.

Взяв трубку, я вызвал Пономарева.

— Телефонист ранен. Пошли на колокольню другого.

Еще не договорив, я услышал свой странно громкий голос. Пришла страшная, бьющая по барабанным перепонкам тишина. Лишь откуда-то сзади, издалека доходило уханье орудий. Там дрались наши; туда новым клином из готовились ринуться немцы через наш заслон.

Я приказал Кухаренко:

— Управляй огнем! Секи, секи, если ползут!

— Есть, товарищ комбат!

Теперь вниз, через две ступеньки; теперь скорее в роту!

Опять на коня, опять вскачь — через село, к реке. Ох, как тихо!

Вдоль берега, припорошенного снегом, кое-где почерневшим от разрывов, пригнувшись, стремглав бежал кто-то с винтовкой. Я подскочил. На меня, остановившись и сразу присев, смотрел черными глазами маленький татарин Муратов.

— Слезайте, товарищ комбат, слезайте! — торопливо заговорил он.

— Куда ты?

— Во взвод. Передать, что командование ротой принял политрук Бозжанов.

И добавил, будто извиняясь:

— Вас, товарищ комбат, долго не было...

— Хорошо. Беги.

У ротного командного пункта — блиндажа, глубоко всаженного в землю, — в тридцати шагах за линией окопов, которые отсюда смутно угадывались по редким полоскам входных траншей, я спрыгнул, осадив коня. У него уже не подрагивала кожа, не топорщились уши. Спасибо тебе! Сегодня мы вместе прошли первую обстрелку. Некогда было и погладить его... Я быстро пошел к мерзлым ступенькам, ведущим в блиндаж, на ходу крикнув:

— Синченко, в овраг!

В полутьме подземелья я не сразу разглядел Бозжанова. На полу, привалившись к стенкам, сидели бойцы. Все вскочили, заслоня скупой свет из прорези лобового наката.

Еще не различая лиц, я подумал: «Что такое? Зачем здесь так много людей?»

Бозжанов доложил, что принял командование, заступив место раненого Севрюкова. Он, Бозжанов, политрук пулеметной роты, которая по характеру нашей обороны была рассредоточена отдельными огневыми точками по фронту, весь день — где бегом, где ползком — пробирался от гнезда к гнезду, обходя пулеметчиков. Он кинулся к селу Новлянскому, на участок второй роты, как только противник перенес весь огонь сюда. Это было полчаса назад.

Мой первый вопрос был:

— Что наблюдается перед фронтом роты? Как противник?

— Никакого движения, товарищ комбат.

Глаза привыкали к полутьме. В углу, подпирая верхние бревна согнутой спиной, стоял Галлиулин.

— Что за народ? — спросил я. — Зачем сюда набились?

Бозжанов объяснил, что, ожидая рывка немцев, он решил перебросить на командный пункт роты один пулемет, сделать его подвижным, чтобы парировать неожиданности.

— Правильно! — сказал я.

— Это, товарищ комбат, мой резерв, — произнес Бозжанов, показывая на пулеметчиков и на черное тело пулемета с заправленной лентой.

Пулемет был установлен в амбразуре.

У пулемета стоял невысокий Блоха. Мурын припал к бревнам лобового наката, всматриваясь сквозь прорезь в даль.

Я подошел туда же. Неровности берега и противотанковый отвес кое-где закрывали реку, но та сторона была ясно видна. Без артиллерийского бинокля я не мог различить посеченных, расщепленных деревьев там, где только что стояли боевые порядки немцев, куда только что падали наши снаряды. Можно было заметить лишь несколько упавших на снег елок, они служили теперь ориентирами. Оттуда вот-вот, оправившись от удара нашей артиллерии, должны показаться немцы. Пусть покажутся! Кухаренко лежит на колокольне, пушки наведены на эту полосу, туда смотрят пулеметы, туда нацелены винтовки.

Тихо-тихо... Пустынно...

Прогремел резкий одиночный выстрел немецкой пушки. Я невольно напряг зрение, готовясь увидеть выбегающие зеленоватые фигурки. Но в та же мгновение словно сотни молотов забахали по листовому железу. Немцы опять

молотили по нашему переднему краю; по церкви, где они обнаружили корректировщика; по орудиям, которые открыли себя.

— Ну, сейчас, значит, не полезет, — произнес Блоха.

Это поняли все. Вбирая в себя вой и грохот, я ликовал: значит, первая атака отбита не начавшись, отбита ударом артиллерии. Немцы не решились ринуться вперед с исходной позиции, накрытой нашими снарядами.

Но день еще не кончен. Я взглянул на часы: было пять минут пятого, пошел восьмой час бомбардировки.

Скоро станет темнеть.

Позвонив в штаб батальона, я приказал: орудиям и корректировщику оставаться на местах; направить к церкви еще одного корректировщика-артиллериста с запасными средствами связи, чтобы продолжать наблюдение с колокольни даже в случае прямого попадания, даже на развалинах; красноармейцам и начсоставу хозяйственного взвода вместе с санитарями быстро перенести из церкви всех раненых по оврагу в лес.

— По вашему приказанию, пришел Краев, — сообщил Рахимов. — Направить его к вам?

— Нет. Пусть ждет. Скоро буду в штабе.

6

Перед тем как вернуться в штаб, я решил побывать у бойцов в окопах. Вышел в траншею, огляделся. За речкой, в окне меж облаков, показался краешек солнца, уже желтоватого, низкого. Кучки лучей падали косо, запыленный снег не искрился, тени были неотчетливы и длинные. Через час свечерееет.

По плотности немецкого огня я понял: атака будет. Будет сегодня. Где-то тут, неподалеку. Он не кончится так, одною пальбой, этот последний час боевого дня.

Словно вымещая злобу, немцы всеми калибрами хлестали по переднему краю. Часть снарядов, сверля с шелестом воздух, пролетала туда, где на закрытых позициях, в блиндажах, стояли наши орудия. Другие падали вблизи. Срежь поля черные взбросы появлялись реже, чем днем. Они придвинулись к береговому гребню, где в скатах были врезаны незаметные окопы. Судя по перемещению огня, противник распознал нашу скрытую оборонительную линию.

Может быть, не стоит итти туда? Едва задав этот вопрос, я понял, что боюсь. Казалось, тысяча когтей вцепилась в полы шинели; казалось, тысяча пудов держит меня

в траншее. А, так? Я рванулся из когтей, оторвался от тысячи пудов — и бегом, бегом к окопам.

Летя верхом через поле и потом на колокольне, в те накаленные минуты, я не замечал снарядов, а тут...

Попробуйте, пробегите когда-нибудь сорок-шестьдесят шагов под сосредоточенным огнем, когда с одного бока вас шибанет горячим воздухом, вы на ходу отшатнетесь и вдруг снова шарахнетесь, когда с другой стороны трахнет белое пламя. Попробуйте — потом вам, может быть, удастся это описать. Мне же разрешите сказать кратко: через десять шагов у меня была мокрая спина.

Но в окоп я вошел как командир:

— Здравствуй, боец!

— Здравствуйте, товарищ комбат!

Это был окоп для одного бойца — так называемая одиночная стрелковая ячейка.

До сих пор помню лицо бойца, помню фамилию. Запишите: Сударушкин, русский солдат, крестьянин, колхозник из-под Алма-Аты. Он был бледноват и серьезен, шапка с красноармейской звездой немного съехала набок. Почти восемь часов он слушает удары, от которых содрогается и отваливается со стенок земля. Весь день, глядя сквозь амбразуру на реку и на тот берег, он сидит и стоит здесь один, наедине с собой. Не я, командир батальона, а он, рядовой боец Сударушкин, встретит пулями немцев, когда они с черными, вороненой стали автоматами побегут на него. Ему, рядовому бойцу, сегодня решать, пройдут или не пройдут здесь немцы.

Я взглянул в амбразуру. Обзор был широк; открытая полоса на том берегу, застланная чистым снегом, была отчетливо видна. Что сказать бойцу? Тут все ясно: покажутся, начо целиться и убивать. Если мы не уьем их, они уьют нас. В амбразуре, выходя наружу штыком, лежала готовая к стрельбе винтовка. При сотрясениях на нее падали мерзлые крошки; некоторые прилипли к смазке.

Я строго спросил:

— Сударушкин, почему грязная винтовка?

— Виноват! Сейчас, товарищ комбат, протру: Сейчас будет в аккурате.

Он с готовностью полез в карман за нехитрым солдатским припасом. Я видел — ему было приятно, что и в эту минуту я подтягиваю его, как подтягивал всегда; у него прибавилось силы, душа стала спокойнее под твердой рукой командира. Снимая ветошью пыль с затвора, он посмат-

ривал на меня, будто прося: «Еще подкрути, найди еще непорядок, побудь!»

Эх, Сударушкин! Знать бы тебе, как хотелось побыть, как хотелось не выскакивать туда, где чорт знает что сыплется с неба! Опять вцепились когти, опять пуды были привязаны к шинели. Я сам искал непорядка, чтобы, приструнивая, не уходить еще минуту. Но все у тебя, Сударушкин, было «в аккурате», даже патроны лежали не на земляном полу, а в развязанном вещевом мешке. Я посмотрел кругом, посмотрел вверх. О, если б вы могли описать, до чего были приятны неободренные, с грубо обрубленными сучьями, елочные стволы над головой! Сударушкин взглянул туда же, и мы оба улыбнулись, оба вспомнили, как я расшвыривал хлипкие накаты, как заставлял волочить тяжеленные бревна, прикрикивая на ворчавших.

Сударушкин спросил:

— Как, товарищ комбат, полезут они пынче?

Я сам бы, Сударушкин, у кого-нибудь это же спросил! Но твердо ответил:

— Да. Сегодня испробуем на них винтовки.

С бойцом нечего играть в прятки; с ним не надо вздыхать: «Может быть, как-нибудь пронесет...» Он на войне; он должен знать, что пришел туда, где убивают; пришел, чтобы убить врага.

— Поправь шапку, — сказал я. — Смотри зорче... Сегодня поналожим их у этой речки!

И, опять выдравшись из вцепившихся когтей, я вышел из окопа. Но заметьте: теперь это далось легче, на мне висело уже не тысяча, а всего пятьсот пудов. А через десять минут, когда я выбежал к последнему, в котором побывал, окопу, меня не держал ни один грамм.

И заметьте еще одно: командиру батальона совершенно не к чему под артиллерийским обстрелом бегать по окопам. Для него это ненужная, никчемная игра со смертью. Но в первом бою, думалось мне, комбат может себе это позволить.

7

Должен рассказать один мимолетный эпизод, который поразил меня, когда я пробегал по окопам. Лечу и вдруг вижу: кто-то выскочил из-под земли и несется навстречу. Что такое? Что за дурак бегаёт под таким огнем по переднему краю?

Ба, Толстунов!.. О нем, кажется, я еще не упоминал.

Как-то, незадолго до боев, он явился ко мне и откомендовался: «Полковой инструктор пропаганды. Поработаю в вашем батальоне». Признаться, тогда мне подумалось: «Ладно, иди занимайся, чем положено».

И вдруг эта встреча на берегу.

Заглянув еще в два-три окопа, где только что побывал Толстунов, обегавший навстречу мне участок второй роты, я повернул к лесу. Стрельба продолжалась.

В лесу верный Синченко, все время следовавший с лошадьми за мной вдоль опушки, сразу подвел коня. Пора, давно пора в штаб!

В штабном блиндаже меня ожидал Краев. От виска по щеке, по подбородку стекала кровь. Он смахивал ее, размазывая по угловатому лицу. Но выпуклая алая струйка опять появлялась на корке засыхающей крови.

— Что с тобой, Краев?

— Задело,..

— Иди на медпункт. Рахимов, раненых перенесли из церкви?

— Перенесли, товарищ комбат. Пункт развернулся в лесу, в доме лесника.

— Хорошо. Иди туда, Краев.

— Не пойду.

Он сказал это упрямо, мрачно. Я прикрикнул:

— Что я тебя, такого, людей пугать пошлю? Прими воинский вид. Умойся, перевяжись. Потом будем разговаривать. Синченко, два котелка воды лейтенанту Краеву!

— Есть, товарищ комбат!

Краев вышел. Но в этот вечер ему так и не удалось перевязаться.

Меня вызвал к телефону командир полка.

— Момыш-Улы, ты? Противник атакует шестую роту в районе Красной Горы. Сейчас третьей волной ворвался на линию блиндажей. Помоги. Что у тебя есть под рукой около штаба?

Деревня Красная Гора находилась в двух с половиной километрах от села Новлянского. Что у меня было под рукой? Охрана штаба, несколько сменившихся телефонистов и хозяйственный взвод. Я доложил об этом.

— Брось их бегом на подмогу шестой роты. Имей в виду: с севера идет туда взвод под командой лейтенанта

Исламкулова. Предупреди, чтобы не перестреляли друг друга. Об исполнении доложи.

Приказав Рахимову поднять по боевой тревоге хозяйственный взвод и всех, кто будет около штаба, я вышел из блиндажа. В лесу уже чувствовался вечер. Неподдалеку умывался Краев. Нескладное, с тяжелой челюстью, с нависшими надбровными дугами лицо было уже чистым, но скатывающаяся вода чуть розовела.

— Краев!

Он подбежал.

— Я!

По мокрому лбу опять ползла струйка крови. Краев досадливо ее смахнул. Я сказал:

— У Красной Горы, на участке шестой роты, противник ворвался на линию блиндажей. Поведешь туда пятьдесят бойцов. Задача — отбросить врага, восстановить положение.

— Есть, товарищ комбат.

Из блиндажа выскочил телефонист.

— Товарищ комбат, вас к телефону!

— Кто?

— Командир полка. Просит немедленно.

Командир полка говорил поспешно, волнуясь:

— Момыш-Улы, ты? Отставить! Поздно: противник вошел в прорыв, расширяет брешь. Одна группа двигается сюда, к штабу полка, другая, неясной численности, повернула к тебе, во фланг. Загни фланг. Держись! Я отхожу в лес близ...

И голос пресекался, связь прервалась. В мертвой мембране — ни гудения, ни потрескивания электроразрядов. Тихо.

Я отложил ненужную трубку, и меня еще раз ударила по нервам тишина. Тихо было не только в мембране, тихо стало кругом. Противник прекратил артиллерийский обстрел нашего района. Что же это? Минута атаки? Бросок немецкой пехоты на прорыв?

Нет, оборона уже прорвана. Немцы уже на этом берегу, уже двигаются вглубь. Они идут сюда, к нам, но не оттуда, где путь прегражден окопами, где их готовы встретить пулями прильнувшие к амбразурам бойцы, где все пристреляно нашими пушками и пулеметами. Они идут сбоку и с тыла по незащищенному полю, где перед ними нет линии обороны.

Вынул часы. Было без четверти пять.

Чуткий, зачастую понимающий без слов Рахимов поло-

жил передо мной карту. Встретив его спрашивающий взгляд, я молча кивнул.

— В районе Красной Горы? — произнес он.

— Да.

Я смотрел на карту, слыша, как тикают часы, как уходят секунды, чувствуя, что уже нельзя смотреть, что надо действовать. Но, пересиливая нетерпение, я заставлял себя стоять, склонившись над картой. О, если бы вы смогли описать эту минуту — одну минуту, которая дана была мне, командиру, чтобы принять решение!

Отдать Новлянское? Отдать село, что лежит на столбовой дороге, которая так нужна противнику, по которой он напрямик на грузовиках устремится во фланг братскому полку, дерущемуся на рокаде? Нелегко самому себе ответить: «Да, отдать!» Но иначе я не сохраню батальона. А сохранив... Посмотрим тогда, чья будет дорога!

На карту, пока только на карту, легла новая черта, идущая поперек поля, поперек пути приближающимся с фланга немцам.

Сообщив Рахимову мое решение, приказав передвигать пушки на край леса, в стык с новой чертой обороны, и отдав несколько других распоряжений, я выбежал из штабного подземелья.

— Синченко!

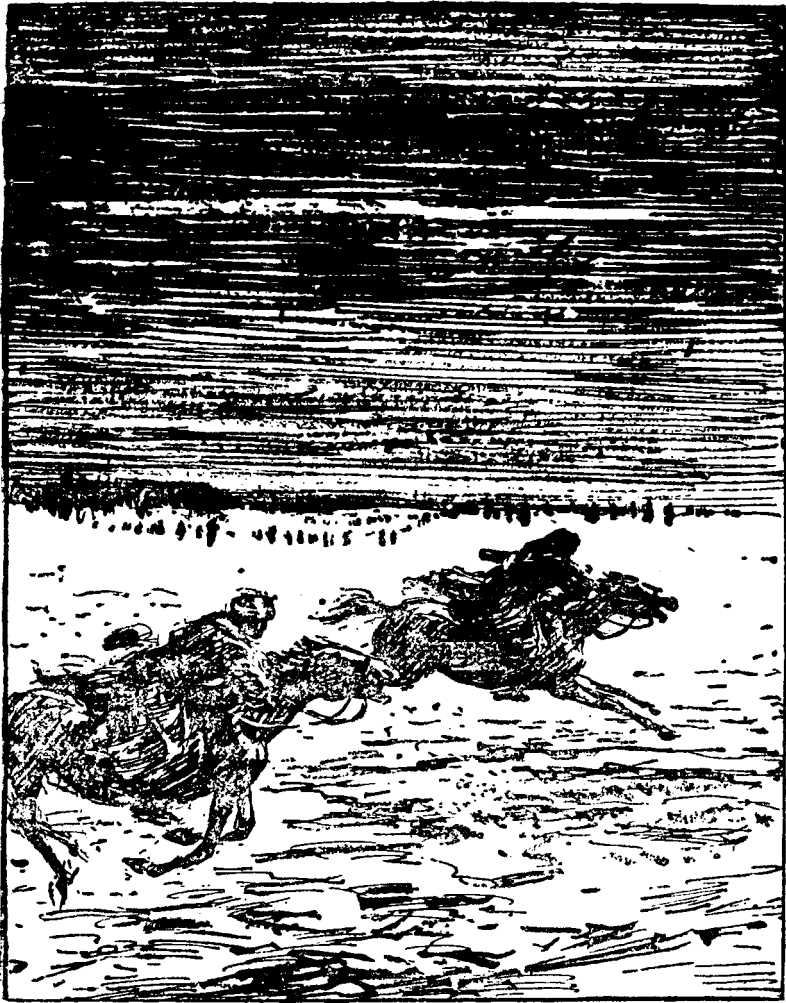
— Я!

— Коня! Давай и рахимовского — для Краева! Краев, за мной!

Опять по тому же полю, теперь стихшему, я поскакал во вторую роту. На краю неба впереди уже проступили бледные краски осеннего заката.

8

Пригнувшись, я посылал коня карьером. Вдруг красные светлячки стали мелькать над головой. На секунду прижавшись на стремях, взглянув в сторону, я увидел немцев. Они шли по полю, которое верхами пересекали мы, шли приблизительно в километре от нас, цепью, в рост, разомкнувшись, как можно было издали определить, на два-три шага друг от друга. Я знал, что у них зеленоватые шинели и такого же цвета каски, но теперь, на неярком снегу, фигуры казались черными. Фокусники, они, треща на ходу автоматами, шагали, выпуская тысячи устрашающих светящихся пуль.



*Пригнувшись, я посылал коня карьером... На секунду привстав на
стременах... я увидел немцев.*

А добрый конь нес и нес.

У ротного командного пункта Галлиулин уже взваливал на спину пулемет. Один из связных бежал наискосок к реке, на фланг батальона. Рахимов уже позвонил сюда, уже сообщил задачу.

Бозжанов стоял у командного пункта. Рядом притопывал ногами Муратов.

Подскакав, я приказал:

— Бозжанов, пойдешь с пулеметчиками! Повтори задачу!

— Умереть, — глухо сказал он, — но...

— Жить! Огневая точка должна жить! Держаться, пока не загнем фланг!

— Есть, товарищ комбат! Огневая точка должна жить.

— Прoberись по оврагу, действуй хладнокровно, выжди, подпусти...

Я посмотрел на пулеметчиков, на Мурина, Блоху, тяжело нагруженных лентами.

— Бегом! Заставьте, ребята, лечь эту шпану! Краев, за мной! Синченко, за мной!

Ко мне подскочил Муратов.

— А я, товарищ комбат? — сиротливо сказал он.

— Беги с политруком!

Сквозь просвет между рекой и селом мы поскакали за Новлянское, на фланг батальона. Связной еще не добрался сюда, но из крайних окопов бойцы уже вышли. Некоторые стояли в траншеях по плечи в земле; другие, по-двое, по-трое, присели на снегу. Отсюда, за взгорьем, шагающие немцы не были видны, но все смотрели туда, назад, где трещали автоматы, откуда взлетали красные шальные пул-ктеры.

Немцы спереди и сзади. Куда деваться? Укрытые грозные ячейки стали ловушками. Куда деваться? Я ощутил: вот так и гибнут батальоны.

Я приказал командиру взвода:

— Выводите первое отделение! Каждому знать свое место по порядку номеров. Первое отделение поведу я, второе — Толстунов, третье — вы!

— Куда? — спросил Толстунов.

— За мной! Загнуть фланг!.. Краев! Принимай командование ротой. Выводи следующий взвод. Примкнешь к нам.

— Есть, товарищ комбат!

— Толстунов, к своему отделению! Держи дистанцию пятьдесят метров от меня. Не отставать! Не сбиваться в

кучу! Иди! Первое отделение, слушать мою команду! За мной! Бегом!

Прижав согнутые локти, я припустился что есть мочи по некрутому подъему, мимо темных домов села, где багровел в стеклах отраженный закат, по избитому полю, к лесу. Я слышал за собой топот: сзади бежало отделение.

В какой-то момент я опять увидел немцев. Ого, как приблизились, как выросли шагающие по снегу черные фигуры! За пять-шесть минут, что протекли с тех пор, как я заметил немцев с седла, расстояние сократилось до полукилометра. Быстро идет: сто метров — минута. А нам еще бежать, бежать... Край леса далеко, будто край света. До первых деревьев тоже почти полкилометра.

Я рывком усилил бег, стараясь не хватать воздух губами, чтобы не сбить дыхания, и порой все-таки хватал, всасывая сквозь занывшие стиснутые зубы. Позади слышался уже не только топот, но и громкое свистящее дыхание.

В немецкой цепи заметили нас. Красные траектории, скрещиваясь, пронзали воздух впереди и сзади, пронеслись над головой или с легким шипеньем потухали у ног.

Немцы стреляли без прицела, с хода, но множеством пуль. Сзади кто-то упал. Донесся тонкий, хватающий за душу крик:

— Товарищи!..

Я оглянулся, выкрикнул:

— За мной! Подберут!

Немцы по инстинкту преследования — ага, рус бежит! — тоже прибавили ходу. Но вот лес, вот он...

Было приказано: не сбиваться толпой. Но бойцы все-таки сгрудились. Да, такая гонка на виду у врага, под огнем автоматов, с засевающим в ушах пронзительным криком раненого — это не учебное фланговое перестроение.

Я вобрал, сколько мог, воздуху:

— Отделение, стой!

Понимаете ли вы? В одном этом миге, в этой команде, в одном слове «стой!» спрессовалась вся наша предыдущая история, история батальона панфиловцев. Сюда вошло сознание долга перед родиной, и «руки по швам!», и всегдашнее безжалостное: «Исполнять! не рассуждать!», превращенное в привычку, то есть во вторую натуру солдата; и «табачный марш»; и расстрел труса перед строем; и ночной набег на Середу, где однажды уже был побит немец.

А вдруг бы бойцы не остановились, вдруг бы с разгону кинулись в лес! Значит... Значит, не жить бы тогда на этом

свете командиру батальона Баурджану Момыш-Улы. Таков закон нашей армии: за бесславное бегство бойцов отвечает командир.

Тяжело дыша, бойцы стояли — стояли! — подле меня.

— Командир отделения!

— Я!

— Ложись здесь! Стреляй!.. Правофланговый!

— Я!

— Сюда! Ложись! Стреляй!.. Кто рядом?

— Я!

— Сюда! Ложись! Стреляй!.. Разомкнуться! Интервал — пять метров. Куда ложишься? Отбегай дальше. Здесь! Стреляй!..

9

Я допустил ошибку. Следовало бы сперва залечь не стреляя, изготовиться, прицелиться, чуть унять бешеный стук крови и потом, по команде, хлестнуть залпами.

Бойцы стреляли вразнобой, с лихорадочной быстротой. Выпуская потоки светящихся пуль, немцы шли на нашу цепочку, и никто из них не падал.

Лишь тут я сообразил, что они, собственно говоря, еще далеко: в двухстах — двухстах пятидесяти метрах. А мы сгоряча палили, оставив прицельные рамки на первой черте, на стометровке.

— Прицел два с половиной! — крикнул я, перекрывая трескотню. — Командир отделения, проверить прицелы!

Через поле по нашему следу подбегало отделение Толстунова. Из-за домов Новлянского показалось третье отделение.

Из села выносились груженные повозки. Ездовые гнали коней. А немцы надвигались. В их цепи упал один, другой,.. Но и у нас кто-то застонал.

Я измерил глазом расстояние. Сомнут! Эх, если бы вы знали, какое это сосущее, тошнотворное чувство: сомнут! Пулемет! Где вы, Бозжанов, Мурын, Блоха? Где пулемет? Пулемет?!

А немцы идут. Но вот наконец-то... наконец-то заговорил пулемет! Первые очереди срезали центр немецкой цепи: Ого, как там заматились! Я впервые услышал истошные крики врагов.

Прозвучала иноземная команда, и немецкая цепь, нетронутая с нашего края пулеметом, разом легла.

Ну, теперь можно вздохнуть... Через минуту около меня оказался Толстунов.

— Как думаешь, комбат? На «ура»?

Я отрицательно повел головой. Противник, сохранил порядок. А в таких случаях «ура» — не простая вещь. Не пишите, пожалуйста, рассказцев: «Ура, и немец побежал». На войне это не так.

Но «ура» в тот вечер все-таки раздалось. Не один мой батальон существовал на свете, и не я один управлял боем. «Ура» возникло там, откуда не ждали его ни мы, ни немцы.

Из лесного клина, сбоку и несколько позади залегших немцев, появилась молча бегущая разомкнутая темная шеренга. Мы увидели красноармейцев, наши шапки, наши шинели, наши штыки наперевес. Их было не очень много: сорок-пятьдесят. Я догадался: это взвод лейтенанта Исламкулова, посланный из другого пункта в район прорыва.

Теперь немцам предстояло изведать, что такое удар во фланг. Но маневр загиба фланга, можете не сомневаться, был им известен. Край цепи поднялся, и, отстреливаясь, немцы стали отбегать, создавая дугу.

Вот тогда-то возник и докатился к нам рев штыкового удара:

— Ура-а-а-а!..

— Комбат! — возбужденно выговорил Толстунов.

Я кивнул ему: да!

Затем крикнул:

— Передать по цепи: подготовиться к атаке!

И не узнал собственного голоса — он был приглушенным, хриплым. От бойца к бойцу шли эти слова, и у каждого, конечно, замерло и неровно забилося сердце.

Со стороны леса бежала шеренга бойцов, что пришли нам на подмогу; оттуда слабо доходило: «Ура-а-а-а!», а немцы торопливо перестраивались. Напротив нас линия немцев поредела, но они успели подтянуть сюда два легких пулемета, которые раньше, вероятно, следовали чуть в глубине за наступающим строем. Один пулемет уже начал бить; участилось неприятное посвистывание над головами.

А в нашей цепи стрельба стихла; бойцы лежали, стиснув винтовки, ожидая мига, о котором всякому думалось со дня призыва в армию, который всякому представляется самым страшным на войне, — ожидая команды в атаку.

Меня поразило это произвольное прекращение огня. Я крикнул: «Вперед!» И тут на фоне закатного неба возник чей-то напряженно согнутый, устремленный вперед силуэт. Отчетливо виднелась взятая наперевес винтовка с заостренной полоской штыка. Я узнал коммуниста красноармейца Букеева.

В трескотне выстрелов мы услышали его высокий голос:

— За родину! За Сталина!

Да, в этот великий и страшный момент Букеев, разрывая тысячи нитей, которые под огнем пришивают человека к земле, двинулся, крича:

— За родину! За Сталина!

И вдруг голос прервался. Будто споткнувшись о натянутую под ногами проволоку, Букеев с разбега, с размаха упал. Показалось: он сейчас вскочит, побежит дальше и все, вынося перед собой штыки, побегут на врага вместе с ним. Но он лежал, раскинув руки, лежал, не поднимаясь. Все смотрели на него, на распластанного в снегу бойца, подкошенного с первых шагов; все чего-то ждали.

И я вдруг ощутил: все ждут чего-то от меня; ко мне, к старшему командиру, к комбату, словно к центральной точке боя, хотя я лежал на краю, притянута обостренное внимание; все ждут, что скажет, как поступит комбат.

Немецкие пулеметы строчили; в легких сумерках ясно виднелось длинное пульсирующее пламя, вылетающее из стволов; оно смутно озаряло вражеских пулеметчиков, которые, стоя на коленях, наполовину заслоненные щитками, вели против нас настильный огонь.

Я приказал:

— Частый огонь по пулеметчикам! Ручные пулеметы, длинными очередями по пулеметчикам! Прижмите их к земле!

Бойцы поняли. Теперь наши пули засвистели над головами стреляющих немцев. Один наш ручной пулемет стоял неподалеку. Боец торопливо прилаживал новый магазин. Туда пополз Толстунов. Бойцы лихорадочно стреляли. Вот заработал и этот пулемет.

Ага, немецкие пулеметчики легли, притаились, скрылись за щитками! Ага, кого-то мы там подстрелили! Один пулемет запнулся; перестало выскакивать длинное острое пламя. Или, может быть, там меняют ленту? Нет, под пулями это не просто...



— Ура-а-а-а!..

Бойцы видели перед собой пятащихся, отбегающих немцев.

В этот момент над цепью разнесся яростный крик Толстунова:

— Коммунары!

Не только к коммунистам — ко всем был обращен этот зов. Мы увидели: Толстунов поднялся вместе с пулеметом и побежал, уперев приклад в грудь, стреляя и крича на бегу.

Над полем вновь взмыли те же слова, вновь прозвучал страстный призыв:

— За родину! За Сталина! Ура-а-а!

Голос Толстунова пропал в реве других слоток. Бойцы вскакивали. С лютым криком они рванулись на врага, чтобы встретиться грудь с грудью; они обгоняли Толстунова.

Бойцы видели теперь перед собой пятащихся, отбегающих немцев. А, подались! Теперь мы расплатимся с вами за всё!

Немцы стреляли. Нет, этим нас не удержишь!

С топотом, с рыком, со штыком наперевес на отодвигающихся немцев бежал бесстрашный и страшный «рус».

А, показали спины!

Вы несли страх — узнайте его! Вы несли смерть — вот она, возьмите ее!

Мы гнали их по полю к реке.

В этом бою мы убили около двухсот немцев; уцелевшие были отогнаны за реку. Какие-то силы противника проникли в глубину сквозь брешь у Красной Горы, но над ними навис наш батальон.

* *

Вот вам повесть, требующая продолжения, повесть о первых днях битвы под Москвой, о страхе и бесстрашии, о среднем образовании солдата.

Последний класс этой школы — удар штыком.

После штыкового удара командир может сказать: я воспитал отважного солдата.

А затем пойдет высшее образование. Потом мы поговорим о высшем образовании, которое панфиловцы получали в битве под Москвой.

Тяжелые бои, страшные испытания мужества — все это было впереди. Великая двухмесячная битва под Москвой лишь начиналась.

В эти два месяца мы, первый батальон Талгарского полка, приняли тридцать пять боев; одно время были ре-

зервным батальоном генерала Панфилова; вступали в сражения, как и положено резерву, в отчаянно трудные моменты; воевали под Волоколамском, под Истрой, под Крюковым; перебороли и погнали немцев.

О наших тридцати пяти боях расскажу потом. А сейчас...

— Сейчас, — закончил Баурджан Момыш-Улы, — ставьте большую точку. Пишите: конец первой повести.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Человек, у которого нет фамилии	3
Страх	8
Судите меня!	14
Не умирать, а жить!	21
Генерал Иван Васильевич Панфилов	28
Три месяца назад	38
Табачный марш	47
«Плохо, товарищ Момыш-Улы!»	62
Попробуйте, сразитесь с нами!	71
Бой у села Новлянского	78

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Ответственный редактор *Ю. Лукин.*

Подписано к печати 17/III 1944 г. 6¹/₂ печ. л. (5; 5уч.-илл. л.). 36 600 экз. в печ. л.
Тираж 50 000 экз. Л 80473. Заказ № 4 296. Цена 2 р. 85 к.

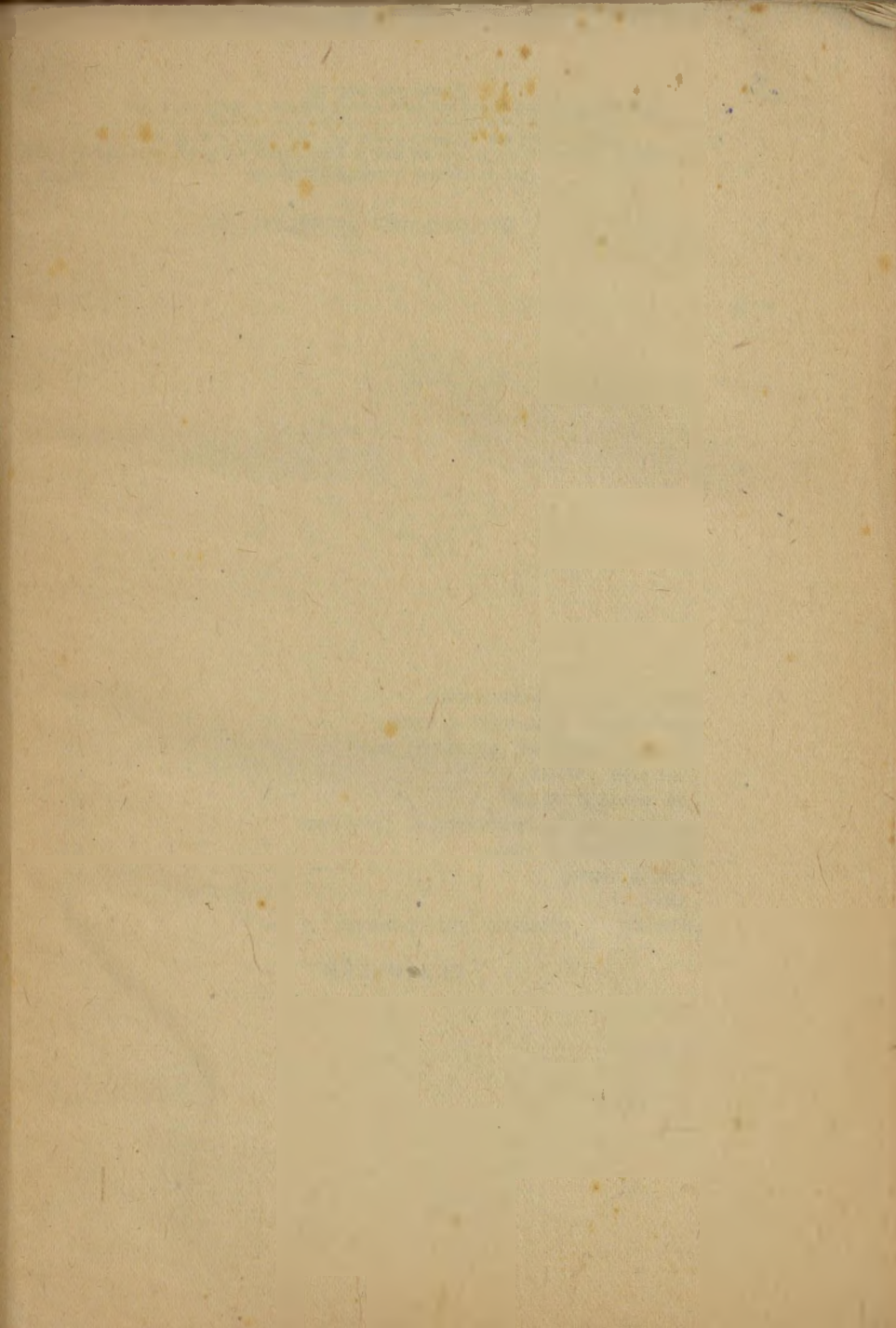
Фабрика детской книги Детгиза Наркомпроса РСФСР, Москва,
Сушевский вал, 49.

80



58

PL. 53 F.



Цена 2 р. 85 к.

18